

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ



СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

ДЕТГИЗ 1946

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ



Рисунки Л. Вольштейна

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1946 Ленинград

ВЛАДИМИР ПЕРВЫЙ

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

11669

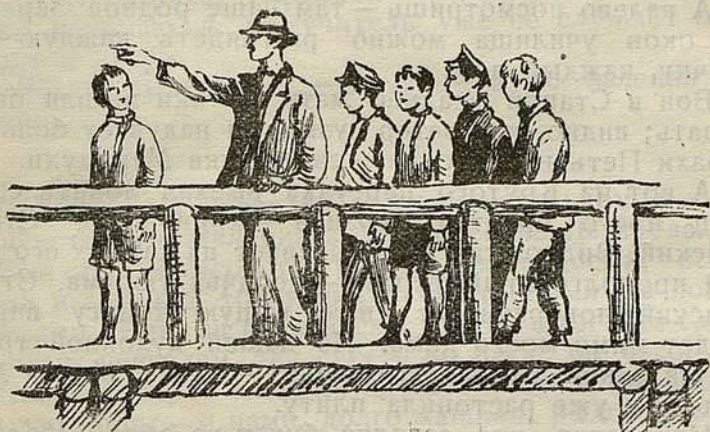
1957-58 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Дома детской книги

ДЕТГИЗА

Государственное издательство Детской литературы
Москва 1958



УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Гимназистами мы стали совсем недавно.

Раньше все наши хлопцы учились в городском высшеначальном училище.

Желтые его стены и зеленый забор хорошо видны с Заречья.

Если на училищном дворе звонили, мы слышали звонок у себя, на Заречье. Схватишь книжки, пенал с карандашами и скорей бежать, чтобы во-время успеть на уроки.

И попевали.

Мчишься по Крутому переулку, пролетаешь деревянный мост, потом — вверх по скалистой тропинке — на Старый бульвар, и вот уже перед тобой училищные ворота.

Только-только успеешь вбежать в класс и сесть за парту — входит учитель с журналом.

Класс у нас был небольшой, но очень светлый, проходы между партами узкие, а потолки невысокие, простые — не то, что в гимназии.

Три окна в нашем классе выходили к Старой крепости и два на Заречье.

Взглянешь направо — подымается над скалами Старая крепость со всеми ее девятью башнями.

А налево посмотришь — там наше родное Заречье. Из окон училища можно разглядеть каждую его уличку, каждый дом.

Вон в Старой усадьбе мать Петьки вышла белье вешать; видно, как ветер пузырями надувает большие рубахи Петькиного отца — сапожника Маремухи.

А вот из Крутого переулка выехал ловить собак отец моего приятеля Юзика — кривоногий Стародомский. Видно, как подпрыгивает на камнях его черный продолговатый фургон — собачья тюрьма. Стародомский поворачивает свою тощую конягу вправо и едет мимо моего дома. Из нашей кухонной трубы вьется синий дымок. Это значит — тетка, Марья Афанасьевна, уже растопила плиту.

Интересно, что сегодня будет на обед? Молодая картошка с кислым молоком, мамалыга с узваром или сваренная в початках кукуруза?

„Вот если бы жареные вареники!“ облизываюсь я. Жареные вареники с потрохами я люблю больше всего. Да разве можно сравнить с ними молодую картошку или гречневую кашу с молоком? Никогда!

Замечтаешься вот так на уроке, глядя в окна на Заречье, и вдруг над самым ухом голос учителя:

— А ну, Манджура! Поди к доске — помоги Бобрю...

Медленно выхожу из-за парты, посматриваю на ребят, а что помогать, — хоть убей, не знаю.

Конопатый Сашка Боберь, переминаясь с ноги на ногу, ждет меня у доски. Он даже нос выпачкал мелом.

Я подхожу к нему, беру мел и так, чтобы не заметил учитель, моргаю своему приятелю Юзику Стародомскому, по прозвищу Куница.

Куница, следя за учителем, складывает руки лодочкой и шепчет:

— Биссектриса! Биссектриса!

А что это за птица такая, биссектриса? Тоже, называется, подсказал!

Математик ровными, спокойными шагами уже подошел к доске.

— Ну что, юноша, задумался?

Но вдруг в эту самую минуту во дворе раздается звонок.

— Биссектриса, Аркадий Леонидович, это... — бойко начинаю я, но учитель уже не слушает меня и идет к двери.

„Ловко вывернулся, — думаю, — а то залепил бы единицу...“

Больше всех учителей в высшеначальном мы любили историка, Валериана Дмитриевича Лазарева.

Был он невысокого роста, беловолосый, всегда ходил в зеленой толстовке с залатанными на локтях рукавами. Нам он показался с первого взгляда самым обычным учителем, так себе — ни рыба, ни мясо.

Когда Лазарев впервые пришел в класс, он, прежде чем заговорить с нами, долго кашлял, рылся в классном журнале и протирал свое пенсне.

— Ну, принес леший еще одного четырехглазого... — зашептал мне Юзик.

Мы уж и прозвище Лазареву собирались выдумать, но, когда поближе с ним познакомились, сразу привыкли к нему и полюбили крепко, по-настоящему, как не любили до сих пор никого из учителей.

Где было видано раньше, чтобы учитель запросто гулял вместе с учениками по городу?

А Валериан Дмитриевич гулял.

Часто после уроков истории он собирал нас вокруг себя и, хитро прищуриваясь под стеклами пенсне, предлагал:

— Я сегодня после уроков в крепость иду. Кто хочет со мной?

Охотников находилось много. Кто откажется с Лазаревым туда пойти?

Валериан Дмитриевич знал в Старой крепости каждый камешек, каждую башню.

Однажды целое воскресенье до самого вечера провели мы с Лазаревым в крепости. Много интересного порассказал нам Лазарев в этот день. От него мы тогда узнали, что самая маленькая башня зовется Ружанка, а та, полуразрушенная, что стоит возле крепостных ворот, прозвана странным именем Донна. А возле Донны над крепостью подымается самая высокая из всех — Папская башня. Она стоит на широком четы-

рехугольном фундаменте, в середине восьмигранная, а сверху, под крышей, круглая. Восемь темных бойниц глядят за город на Заречье и в глубь крепостного двора.

Уже в далекой древности, — рассказывал нам Лазарев, — наш край славился своим богатством. Земля здесь очень хорошо родила, в степях росла такая высокая трава, что рога самого большого вола были незаметны издали. Часто забытый на поле плуг в три-четыре дня закрывался порослью густой, сочной травы. Пчел было столько, что они едва могли разместиться в дуплах деревьев. По всему побережью Днестра без всякого присмотра рос вкусный дикий виноград, созревали самородные абрикосы, персики.

Особенно сладким казался наш край соседним польским помещикам. Они рвались сюда из всех сил, заводили тут свои угодья, хотели огнем и мечом покорить украинский народ. Пытались также завладеть нашим краем и турки.

В жестоких боях приходилось украинцам отстаивать свою независимость. На юге нужно было отражать частые набеги крымских татар и турок, на западе вести тяжелую борьбу с войсками польских королей. Но бывало и так, что украинцы с помощью одних своих врагов расправлялись с другими.

Весною 1672 года, — рассказывал нам Валериан Дмитриевич, — гетман Украины Петро Дорошенко, чтобы поскорее прогнать поляков, соединился с турками. Только стояли на полях снега, более трехсот тысяч турецкого войска под командой самого султана Магомета IV, выйдя из далекого Константинополя, перешло Дунай и двинулось на помощь Петру Дорошенко. Главный бой разгорелся под стенами нашего города.

Сперва турки и запорожцы думали легко овладеть городом. Они подкупили коменданта крепости, немецкого полковника, и он обещал передать им ключи от города. Но, боясь, что измена будет открыта, комендант не выполнил своего обещания и, опасаясь наказания, сел на бочку с порохом, зажег фитиль и взорвал себя. Город пришлось добывать силой. И когда он был, наконец, взят, польский король Ян Казимир, узнав об этом, умер с горя. А султан Магомет IV, как только первые отряды запорожцев и турок за-

няли город, отправил гонца в Константинополь и приказал всей Турции три дня праздновать эту победу.

А победа была большая! Наш город, расположенный на высоком каменном острове, омываемом глубокой рекой, был природной твердыней. Крепость, выстроенная сбоку, на скалистом мысу, как бы сторожила этот остров.

В минуты опасности наша Старая крепость часто подавала городу руку помощи через Крепостной мост. По этому мосту на городские бастионы и валы на выручку мирного населения перебегали запорожцы и подвозили туда под вражеским огнем порох и тяжелые чугунные ядра.

Завладев городом, турки первым делом стали укреплять и перестраивать крепость. Они обнесли ее валы и башни новой высокой каменной стеной, выкопали колодцы, проложили под крепостью подземные ходы, наново переделали крепостной мост и настроили вокруг, в полях над обрывами, немало грозных сторожевых башен.

Лазарев рассказал, что потом, когда город перешел к России, в нашей Старой крепости была пересыльная тюрьма. В стенах разрушенного белого здания на крепостном дворе еще сохранились решетки. За ними сидели арестанты, которых по приказу царя отправляли в Сибирь на каторгу. В Папской башне при царе Николае первом томился известный украинский повстанец Устим Кармелюк. Со своими друзьями он ловил проезжавших через Калиновский лес панов, исправников, архиереев, отбирал у них деньги, лошадей — и все отобранное раздавал бедным крестьянам. Крестьяне прятали его в погребах, в копнах на поле, но царским сыщикам все же удалось поймать храброго Кармелюка. Его отправили в Сибирь. Он трижды убегал с далекой каторги. Его били, да как били! Спина Кармелюка выдержала больше четырех тысяч ударов шпицрутенами и батогами. Голодный, израненный, он каждый раз вырывался из тюрем и по морозной глухой тайге, неделями не видя куска хлеба, пробирался к себе на родину, — на Украину. По одним только дорогам в Сибирь и обратно, — рассказывал нам Валериан Дмитриевич, — Кармелюк прошел около два-

дцати тысяч верст пешком. Недаром крестьяне верили, что Кармелюк свободно переплывает любое море, что он может разорвать любые кандалы, что нет на свете тюрьмы, из которой он не смог бы вырваться.

Его посадил в Старую крепость польский помещик пан Янчевский. Кармелюк убежал из этой мрачной каменной крепости среди бела дня. Он хотел потом поднять восстание против польских панов, но в темную октябрьскую ночь 1835 года был убит одним из них — паном Рутковским.

Этот трусливый шляхтич Рутковский при встрече с Кармелюком побоялся даже посмотреть ему в глаза. Рутковский стрелял из-за угла, в спину Кармелюку.

Когда отважный Кармелюк сидел в Папской башне, — рассказывал Лазарев, — он сочинил песню:

За Сибиром солнце сходить...
Хлопцы, не зивайте:
Вы на мене, Кармелюка,
Всю надию майте!

Зовут мене розбийныком,
Що людей вбиваю,
Я багатых убиваю,
Бидных награждаю.

З багатого хоч я визьму,
Убогому даю;
А так гроши роздильвши, —
Гриха я не маю.

Камера, в которой сидел Кармелюк, была, как и остальные, круглая, засыпанная мусором. Одно ее окно выходило во двор крепости, а другое, на половину закрытое изогнутой решеткой, на улицу. Я попробовал было выдернуть из решетки железный прут, но он крепко был вделан в стену, и я только выпачкал ржавчиной руки.

Осмотрев оба этажа Папской башни, мы направились к широкой Черной башне. Когда мы вошли в нее, Лазарев велел нам лечь ничком на заплесневелые балки, а сам осторожно перебрался по перекладине в дальний, темный угол.

— Считайте, — сказал он и поднял над вырубленным между балками отверстием голыш.

Не успел этот белецкий круглый камешек про-

мелькнуть перед нами и скрыться под деревянным настилом, как все шопотом забормотали:

— Один, два, три, четыре...

В Черной башне стало очень тихо.

Лишь было слышно, как далеко внизу, под залесневелыми балками, журчит ручей.

— Двенадцать! — едва успел прошептать я, как в напряженной тишине из глубины темного колодца донесся дрожащий, почти звонкий всплеск воды. Эхо от него пролетело мимо нас вверх, под каменный свод башни.

— Так и есть, тридцать шесть аршин, — сказал Лазарев, пробираясь к нам на цыпочках по гнилой перекладине.

Когда мы вышли из затхлого полумрака на крепостной двор, Лазарев объяснил, откуда взялся в Черной башне этот глубокий колодец. Его еще вырыли осажденные войсками гетмана Богдана Хмельницкого поляки. Запорожцы окружили крепость со всех сторон, и поляки не могли пробиться к реке за водой. Вот они и вырыли этот колодец. На самом дне его протекает ручей, и вода в нем, говорят, очень вкусная.

В это же воскресенье, возле самой Донны, Куница под кустом шиповника нашел ржавый турецкий ятаган. Он и по сей день лежит в городском музее с выцветшей надписью: „Дар ученика высшеначального училища Иосифа Стародомского“.

А совсем недавно, в одну из наших прогулок по крепости, мы помогли Валериану Дмитриевичу выковырять из стены Папской башни круглое чугунное ядро. Оно гулко упало на землю и разломало пополам валявшуюся сосновую щепку.

На брезентовой курточке Сашки Бобыря мы донесли это чугунное ядро до самого лазаревского дома.

Вот тогда-то мы и узнали, что Валериан Дмитриевич живет по соседству с доктором Григоренко, в маленьком проулочке напротив докторской усадьбы,

В глубине небольшого дворика примостился его маленький, обмазанный глиной домик с деревянным крылечком. На крылечке, словно часовые, стояли, прислонившись к перилам, две безносые каменные бабы. Валериан Дмитриевич выкопал их за городом, на кургане около Нагорян.

По всему двору были разбросаны покрытые мхом могильные плиты, треснувшие глиняные кувшины, бронзовые кресты и осколки камней с отпечатками листьев. С проулочка дворик Лазарева, похожий на старинное маленькое кладбище, был огорожен невысоким глиняным забором. Мы бросили чугунное ядро наземь у самого крыльца, и когда стали прощаться с нашим учителем, он пообещал свести нас в подземный ход, который начинается около крепости.

Мы условились пойти в подземный ход в следующее воскресенье. Куница взялся отыскать фонари, а Сашка Бобырь пообещал принести целую катушку телефонного провода.

Мы с нетерпением стали ожидать воскресенья: очень уж заманчива была обещанная прогулка!

Об этом подземном ходе я впервые услышал от Куницы. Он уверял, что подземный ход соединяет нашу крепость со старинным замком польского князя Сангушко, который раньше владел этим краем. Тридцать верст тянется подземный ход в скалах, проходит под двумя быстрыми речками и кончается в никому неизвестной потаенной комнате княжеского замка. А этот княжеский замок стоит в густом сосновом лесу, скрытый от людских глаз, на берегу широкого озера, в котором водятся жирные зеркальные карпы и золотые рыбки.

Я верил Кунице и представлял себе замок мрачным, загадочным, с тяжелыми решетками на окнах.

„Должно быть, — думал я, — в ясные, светлые ночи его зубчатые башни отражаются в голубом от лунного света озере, и, наверное, очень страшно, да и, пожалуй, вовсе невозможно купаться в таком озере по ночам“.

Я с нетерпением ждал воскресенья.

Но пойти в подземный ход вместе с Лазаревым нам не удалось.



НОЧНОЙ ГОСТЬ

По городу прошел слух, что красные отступают, а Петлюра с поляками подходит уже к Збручу. А потом на заборах забелели приказы, в которых говорилось, что Красная армия временно оставляет город, перебрасывая свои части на деникинский фронт.

Накануне отступления, поздно вечером, к моему отцу пришел наш сосед Давид Лейзерович. С ним был еще один человек, которого я не знал.

Я уже лежал на кровати, закутанный до подбородка в байковое отцовское одеяло.

Отец сидел за столом и хорошо отточенным ножом резал „самкроше“ из пачки прессованного желтого табака.

На плечах у Давида болтался рванный казацкий башлык, на курчавой голове чернела круглая барашковая кубанка, а карманы его зеленого френча были туго набиты бумагами. Спутник Давида, невысокий человек в пушистом заячьем треухе, шел сзади, медленно переставляя ноги, словно боялся оступиться.

Был он бледен до зелени, не брит, и на остром его подбородке и впалых щеках пробивались черные жесткие волосы. Перешагнув вслед за Давидом порог

нашей спальни, этот незнакомый человек снял свою меховую шапку, тихо, чуть слышно поздоровался, сел на стул и расстегнул ватную солдатскую телогрейку.

— Поганое дело, сосед, выручай, — сказал Давид, снимая башлык и здороваясь с отцом. — Наши ночью отступают, а вот товарищ расхворался не во-время. Нельзя ему ехать... Где б его тут пристроить в городе? Только так, чтобы никто не потревожил. А, Мирон?..

— Ладно, потолкуем, — ответил отец. — Разденься сперва, чаю выпей.

Давид вытащил из френча револьвер, переложил его в карман брюк, а затем френч вместе с кубанкой и башлыком бросил на корзинку у окна. Потом, присев к столу, он облокотился на него и, сжав виски длинными тонкими пальцами, медленно сказал:

— Ты думаешь, наши надолго уходят? Пустяки, скоро вернутся. Вот прогонят Деникина из Донбасса, а там и гайдамакам надают...

Пока Давид беседовал с отцом, тетка приготовила больному гостю постель на широком кованом сундуке, а когда он улегся, покрыла его зимним ватным одеялом и другими теплыми вещами, какие только были в нашем доме. Она напоила больного чаем с сушеной малиной. Больной лежал на спине под высокой грудой пропахшей нафталином одежды, прислушиваясь к разговору. Свет от лампы падал гостю в глаза, и он все время жмурился.

Вдруг он повернулся на бок, подмигнул мне и кивнул на стену. Я посмотрел на стену — ничего там не было. Тогда больной высунул из-под одеяла худую, длинную руку и начал шевелить вытянутыми пальцами.

По стене запрыгали тени.

И вдруг из этих смутных, расплывчатых теней стали возникать отчетливые фигурки. Сперва я различил голову лебедя с выгнутой шеей. Потом на белой стене, двигая ушами, запрыгал очень потешный заяц. А когда заяц исчез, большой рак, подползая к окну, зашевелил цепкой клешней. Не успел я наглядеться на рака, как в другом месте, около этажерки, появи-

лась морда лающей собаки, очень похожей на пса наших соседей Гржибовских — Куцего. Вот собака высунула язык и стала тяжело-тяжело дышать, точно-точно как дышат собаки в сильную жару.

Все фигурки появлялись и пропадали так быстро, что я не успевал даже заметить, как делает их этот чудной человек, укутанный одеялом до самых ушей.

Показав последнюю фигурку, он опять хитро подмигнул мне, высунул язык, а потом снова лег на спину и закрыл глаза.

Я сразу решил, что он, должно быть, очень веселый и хороший человек, и мне захотелось, чтобы отец позволил ему остаться у нас, пока не возвратятся красные. С ним бы мы славно зажили.

Ни отец, ни Давид Лейзерович не заметили тех штук, которые показал мне больной. Они всё пили чай и разговаривали.

Отец говорил Лейзеровичу:

— Уезжай, Давид, с красными, пока можно, а не то, чего доброго, разыщут тебя гайдамаки, да и порубают ни за грош, как порубали твоего батьку.

А Давид, слегка картавя, говорил отцу, что сумеет запрятаться от гайдамаков, что гайдамаки дурни и что им его не сыскать.

Я знал, почему отец так беспокоится о судьбе нашего соседа, курчавого Давида Лейзеровича.

Прошлым летом, когда петлюровцы громили еврейские кварталы, сын колбасника Гржибовского, курносый Марко, привел двух гайдамаков к домику старика Лейзеровича. Давида в это время дома не было: он ушел с красными. Гайдамаки высадили прикладами оконную раму и стали хозяйничать в домике Лейзеровича.

Они выбросили из окна на мостовую всё добро старого сапожника — колодки, ведра, подушки. А потом ушли, захватив два серебряных подсвечника.

Ночью, едва только старый Лейзерович с младшим сыном Файвышем улеглись спать в своем опустевшем, разграбленном домишке, гайдамаки пришли снова. И снова их привел сюда курносый Марко.

Гайдамаки выволокли Лейзеровичей на улицу и зару-

били их тут же, у самого крыльца, на серых булыжниках мостовой...

А как раз через три дня после этого Давид Лейзерович вернулся с конницей Котовского в наш город. Он поселился в отцовском домике. Спал там в каморке за кухней на топчане и никогда не закрывал окон. Да и незачем их было закрывать: все равно остались одни рамы — все стекла перебили петлюровцы. Днем мы Давида совсем не видели: возвращался он домой в сумерках, а уходил в город на рассвете, когда мы еще спали. Многие жители боялись его. Однако мало кто толком знал, что делает Давид у большевиков. Одни говорили, что он служит в Чрезвычайной комиссии, другие — что работает в ревтрибунале, третьи рассказывали, что он вербует добровольцев в Красную армию. На самом деле Давид Лейзерович работал в ревкоме и руководил тройкой по реквизиции оружия.

Однажды мы с Юзиком Куницей отправились к Давиду — в большое, с желтыми колоннами здание городской управы, где помещался ревком.

Через весь город, к немалому удивлению прохожих, несли мы Давиду старый австрийский карабин. Мы нашли его в мусорной яме за Старой усадьбой, в которой живет Маремуха, и потом прятали в бурьяне над скалой. Будь это револьвер, мы бы, пожалуй, никогда не отдали его Давиду, а припрятали для себя. А тяжелый, заметный карабин, весь проржавевший внутри, был нам ни к чему: все равно стрелять из него было нельзя — в нем не доставало затвора, русский же винтовочный затвор, который нашелся у Куницы, в ствол никак не лез. Уж мы его и подсолнечным маслом смазывали, и камнем вколачивали, и пробовали засовывать по частям, — ничего не выходило.

С какой гордостью несли мы этот карабин по улицам нашего маленького города! Нам казалось, что все жители смотрят на нас из окошек и шепчут один другому: „Гляди, гляди — такие молодые, а уже у красных служат, им выдали оружие“.

Мы несли карабин по очереди: две улицы — Юзик, две улицы — я. Кто нес оружие, тот чувствовал себя начальником. Когда я, переходя улицу, немного отстал,



Давид вышел к нам на крыльцо.

Куница, который нес в это время карабин, пихнул меня ногой и закричал, как кричали конвоиры на арестантов:

— Иди, иди, не останавливаясь, злодьяка!

Я смолчал, а когда пришла моя очередь нести оружие, пропустил Куницу вперед и, взяв карабин наперевес, провел Юзика несколько кварталов под конвоем.

Долго потом зареченские ребята, прослышав об этом, допытывались: куда это мы ходили среди бела дня с ружьем в руках? А Юзик пустил даже слух, что мы поступили в разведчики к большевикам.

Подойдя к управе, мы попросили красноармейца вызвать нам товарища Лейзеровича.

Давид вышел на крыльцо и, повертев в руках карабин, повел нас в склад. Там он бросил карабин в кучу такого же ржавого и старого оружия и тут же подарил нам рваную резиновую камеру. Должно быть он не забыл, как сам мальчишкой делал себе из резины рогатки.

Какая это была замечательная камера!

Дома у меня, на топчане, мы с Куницей разрезали ее на длинные одинаковые полоски и затем, пересчитав, поделили поровну.

Резина была тягучая, крепкая, куда прочнее той, что получалась из трубок, которые мы покупали в аптеке.

Потом долго меняли мы эту резину у наших зареченских хлопцев — то на груши, то на колбасу, а то на офицерские погоны, обшитые серебряным галуном.

Однажды Куница пришил такие погоны суровыми нитками к своей парусиновой рубашке. Но ему не удалось даже выйти в них за ворота. Его отец, кривоногий собачник Стародомский, чуть только увидел у сына на плечах белогвардейские погоны, схватил свой длинный кнут с петлей для ловли собак и этим кнутом выпорол Куницу, приговаривая:

— Я тебе покажу погоны! Я тебе покажу, как рубашку портить! Тоже, офицер нашелся — лихо на мою голову!

Когда вся резина у нас вышла, мы с Куницей решили снова пойти за ней в гости к Давиду.

С пустыми руками итти к нему нам не хотелось. Во дворе военного интендантства на Госпитальной улице мы насбирали ржавых ружейных затворов, медных снарядных капсюлей, а на чердаке в разрушенной конюшне Юзик нашел блестящие никелированные ножны от казацкой сабли.

Со всей нашей добычей мы двинулись в управу. Мы шли и думали: „Наверное Давид опять поведет нас в склад и опять подарит нам резину“.

Вышло иначе.

Часовой у дверей управы сказал нам, что Давид уехал и до вечера его не будет.

Не солоно хлебавши вернулись мы к себе на Заречье, а когда пришли в ревком на следующий день, то нас уж просто к Давиду не пустили, сказали — занят.

С Давидом творилось что-то неладное, а что — я тогда еще не знал.

Только сейчас, прислушиваясь к разговору Лейзевича с моим отцом, я понял, почему нас не пускали к Давиду в последние дни: красные готовились к отступлению, Давиду было не до нас.

Наконец я заснул. Проснулся я поздно и первым делом поглядел на сундук, где лежал вчера ночной гость.

Сундук стоял у стены, попрежнему покрытый разноцветной дорожкой. Но постели и больного на нем уже не было.

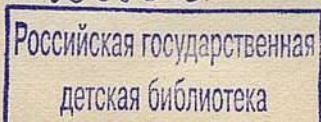
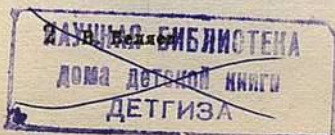
Было уже поздно. На чистую, блестящую клеенку обеденного стола падали солнечные лучи.

Вдруг где-то за Калиновским лесом грохнул выстрел.

Натягивая на ходу рубашку, я вбежал в кухню. Там тоже никого не было. Только на огороде, около забора, я нашел тетку Марью Афанасьевну. Она стояла на скамеечке и смотрела поверх забора на Крепостной мост.

— Едут! — кивнула тетка на мост.

Я не понял и спросил, кто едет.



— Петлюровцы, — сказала, вздохнув, тетка и слезла со скамейки.

Я вскочил на скамейку, со скамейки вскарабкался на забор и увидел скачущих от крепости в город всадников. Они мчались по мосту. Над решетчатыми перилами были видны вытянутые морды их гривастых коней.

— А где больной? А где Давид? — спросил я Марью Афанасьевну, когда мы вернулись на кухню.

— Больной? Какой больной? — удивилась она. — А я думала, — ты спал. Больной, деточка, уехал с красными, и Давид с ним уехал. Все уехали, ты только молчи про больного.

— Как все? И отец?

— Нет, деточка, отец здесь, он пошел в типографию.

Тетка моя, Марья Афанасьевна — женщина добрая и жалостливая. Сердится она редко и, когда я веду себя хорошо, называет меня деточкой.

А я не люблю этой клички. Какая я деточка, когда мне скоро уже двенадцать лет будет?

Вот и сейчас я обозлился на тетку за эту самую „деточку“ и не стал ее больше расспрашивать, а побежал в Старую усадьбу к Петьке Маремухе — смотреть оттуда, со скалы, как в город вступают петлюровцы.

А на следующий день, когда петлюровцы уже заняли город и вывесили на городской каланче свой желто-голубой флаг, мы с Юзиком Куницей увидели бегущего по Ларинке Давида.

Его зеленый френч, надетый прямо на голое тело, был расстегнут. Давид мчался по тротуару, чуть не сбивая с ног случайных прохожих и гулко стуча по гладким плитам коваными сапогами.

За ним гнались два петлюровца в широких синих шароварах. Не останавливаясь, на бегу они стреляли в воздух из тяжелых маузеров.

Давид тоже не останавливался и тоже стрелял из нагана вверх, через левое плечо, не целясь. У кафедрального собора к двум петлюровцам подбежало еще несколько гайдамаков. Они гурьбой гнались за Давидом и палили без разбору кто куда: их пули летели

то в окна соседних домов, то вверх, в купол кафедрального собора.

По извилистым тропинкам над скалой Давид промчался к Заречью. А петлюровцы, не зная дороги, потстали. Спустившись вниз, Давид перебежал по шатающейся кладочке на другой берег реки и оглянулся.

Размахивая маузерами, петлюровцы уже подбегали к берегу. Тогда Давид вскочил в башню Конецпольского, которая стояла на краю Заречья, у самого берега.

И не успели еще петлюровцы добежать до реки, как из круглой башни прогремел первый выстрел Лейзеровича. Второй пулей Давид подстрелил прыгнувшего на дрожащую кладку рослого петлюровца. Ноги петлюровца разъехались в стороны. Он покачнулся, неловко взмахнул руками и грузно упал в быструю воду.

Мы с Куницей с гребня крутого Успенского спуска видели, как медленно поплыла вниз по течению кудлатая белая папаха петлюровца.

Петлюровцы залегли поодаль, в камнях под скалой. Пока двое из них вытаскивали из воды подстреленного, остальные успели снять со спин свои куцые австрийские карабинки и стали палить через речку по башне, в которой спрятался Давид. Никто из петлюровцев, видно, не решался перебежать речку по кладке. Глухое эхо раздавалось над рекой. Скоро на выстрелы стали сбегаться со всех сторон гайдамаки.

В самый разгар перестрелки около нас неожиданно вырос петлюровский сотник в отороченной белым каракулем венгерке.

— А ну, байстрюки, геть видциля!¹ — строго цыкнул на нас сотник и погрозил Кунице наганом. Мы кинулись наутек.

Окольной дорогой, мимо Старого бульвара, мы вернулись к себе домой.

Уже подбегая к Успенской церкви, мы услышали, как внизу, у реки, застрекотал пулемет. Видно, гайдамаки открыли пулеметный огонь по башне Конецпольского.

У церкви мы разошлись.

¹ Марш отсюда.

Я пошел домой, но у нас на дверях висел замок. Покрутился я несколько минут на огороде и, не вытерпев, побежал к Юзику: уж очень мне хотелось посмотреть, как вывернется Давид.

Куница в это время ел мамалыгу. Я предложил ему побежать на Старый бульвар и оттуда, сверху, посмотреть, что делается у башни Конецпольского. Куница наспех отломил мне кусок горячей мамалыги, и мы помчались. Но, когда мы добежали до бульвара, у башни Конецпольского было уже тихо. Только над речкой ходил взад и вперед петлюровский патруль, да два каких-то незнакомых хлопца подбирали на берегу стреляные гильзы.

Мы прогнали этих хлопцев и сами стали искать патроны в том месте, где только что была перестрелка.

Кунице посчастливилось. Около забора он нашел боевой австрийский патрон с тупой пулькой. Должно быть впопыхах его обронили гайдамаки. А мне не повезло. Долго я бродил под скалой, где лежали гайдамаки, но, кроме одной лопнувшей гильзы, из которой остро пахло порохом, ничего не нашел. Проклятые хлопцы всё подобрали. Недаром, когда они убежали от нас, собранные патроны звенели у них за пазухой, как колокольчики.

На небе уже показались звезды, когда я вернулся домой, так ничего и не узнав про Давида.

Отец почему-то был веселый. Застлав газетой край стола, он разбирал наш никелированный будильник и посвистывал.

Когда я сказал отцу, что, наверное, Давида поймали и он уже сидит в тюрьме, отец усмехнулся в густые усы и пробурчал:

— Много ты знаешь!..

С того вечера я ничего больше о Давиде не слышал.

До прихода Петлюры мой отец работал наборщиком в уездной типографии. Когда гайдамаки заняли город, к отцу стали часто заходить знакомые типографские рабочие. Вместе они беседовали по ночам. Они говорили, что Петлюра привез с собой машины, чтобы на них печатать деньги.

Машины для денег установили в большом доме духовной семинарии на Семинарской улице. А под окнами семинарии взад и вперед зашагали чубатые гайдамаки в мохнатых шапках, с карабинами за спиной и нагайками отгоняли прохожих.

Пятерых рабочих типографии взяли в семинарию печатать петлюровские деньги. Один из них жаловался отцу, что во время работы за спиной у них стоят гайдамаки с ружьями, а после работы эти гайдамаки обыскивают их, как воров.

Как-то поздно вечером к нам в дом пришел рябой низенький наборщик. Он и до этого бывал у нас.

Тетка Марья Афанасьевна уже спала, а отец только собрался ложиться.

— Завтра нас с тобою, Мирон, заставят петлюровские деньги печатать. Я слышал: заведующий говорил в конторе, — угрюмо сказал моему отцу этот наборщик.

Отец молча выслушал наборщика. Потом он сел за стол, суровый, в одном нижнем белье, и долго смотрел на вздрагивающий огонек каганца. Я следил за отцом и думал: „Ну скажи хоть слово, ну чего ты молчишь?“

Мне было тяжело, что отец так долго сидит молча. Наконец низенький рябой наборщик отважился и, тронув отца за плечо, спросил:

— Так что делать будем, а, Мирон?..

Отец вдруг сразу встал и громко, так что даже пламя каганца заколыхалось, ответил:

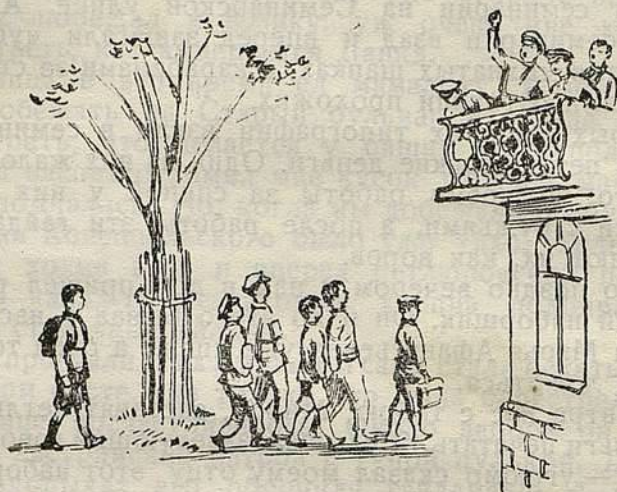
— Я им таких карбованцев напечатаю, что у самого Петлюры поперек горла встанут! Я печатник, а не фальшивомонетчик!

И, сказав это, отец погрозил кулаком.

Утром отца в городе уже не было.

Он скрылся от обысков, от гайдамацкого караула, от петлюровских денег к своему брату Авксентию в деревню Нагоряне.

Отец удрал, а у меня тоже беда приключилась.



ПРОЩАЙ, УЧИЛИЩЕ

Однажды, вместо математика, к нам в класс вошел Валериан Дмитриевич Лазарев. Он поздоровался, протер платочком пенсне и, горбясь, зашагал от окна к печке. Он всегда любил, прежде чем начать урок, молча, как бы собираясь с мыслями, пройтись по классу.

Вдруг Лазарев остановился, окинул нас усталым, рассеянным взглядом и сказал:

— Будем прощаться, хлопчики. Жили мы с вами славно, не ссорились, а вот пришла пора расставаться. Наше училище закрывается, а вас переводят в державную украинскую гимназию. Сейчас можете идти домой, уроков больше не будет, а в понедельник извольте явиться в гимназию. Вы уже больше не вышенаучальники, а гимназисты.

Мы были ошарашены. Какая гимназия? Почему мы гимназисты? Уж очень неожиданной показалась нам эта весть. В классе сразу стало удивительно тихо. Первым нарушил эту тишину конопатый Сашка Бобыр.

— Валериан Дмитриевич, а наши учителя, а вы —

тоже с нами? — выкрикнул он с задней парты, и мы, услышав его вопрос, насторожились.

Было видно, что Сашкин вопрос задел Валериана Дмитриевича за живое.

— Нет, хлопчики, мне на покой пора. Был, как говорится, конь, да вышел, — криво улыбнувшись, ответил Лазарев и, присев к столу, принялся без цели перелистывать классный журнал.

Тогда мы повскакали из-за парт и окружили стол, за которым сидел Лазарев.

Валериан Дмитриевич молчал. Мы видели, что он расстроен, что ему тяжело разговаривать с нами, но любопытство взяло верх, и мы прямо забросали его вопросами. Сашка Бобырь спрашивал Лазарева, будем ли мы носить форму, Куница — на каком языке будут учить в гимназии; каждый старался выведать у Валериана Дмитриевича самое главное и самое интересное. Все толкались, кричали, прыгали друг другу на плечи, — в классе стоял такой шум, словно мы затеяли „кучу малу“.

Больше всего нам, конечно, хотелось знать, почему Лазарев не переходит с нами в украинскую гимназию. Мы без конца приставали к нему с вопросами, наконец он встал со стула, еще раз медленно протер пенсне и сказал:

— Я и не хотел покидать вас в середине учебного года, да что ж поделаешь? Говорят — вакансии нет свободной... — Помолчав немного, он добавил: — Да все это, конечно, чепуха — вакансии. Главное, хлопчики, в том, что они набирают в гимназию своих учителей, петлюровцев, а я для них не гожусь...

Невесело мы расходились в этот день по домам. Было жалко покидать навсегда наше старое училище. Никто не знал, что нас ожидает в гимназии, какие там будут порядки, какие учителя.

— Это всё Петлюра выдумал, — со злостью сказал Куница, когда мы с ним спускались по Старому бульвару к речке. — Вот холера, чтоб он подавился! — И, разозлившись, Юзик на ходу вырвал из земли кустик лебеды.

Я молчал. Что говорить, никому не хотелось расставаться со старым училищем. Да и как мы будем учиться вместе с гимназистами?

Еще от старого режима сохранились у них серые шинели с петлицами на воротнике, синие мундиры и форменные фуражки с серебряными пальмовыми веточками на околыше.

А когда пришел Петлюра, многие гимназисты, особенно те, что записались в скауты,¹ вместо пальмовых веточек стали носить на фуражках петлюровские гербы — золоченые, блестящие трезубцы. Иногда под трезубцы они подкладывали шелковые желто-голубые ленточки.

Мы издавна ненавидели этих панычей, всегда враждовали с ними.

Бывало заметишь на улице гимназиста в форменном синем мундире с белыми пуговицами и айда орать во все горло:

— Синяя говядина! Синяя говядина!

Гимназисты тоже были мастера дразниться.

На медных пряжках у нас были выдавлены буквы „В.Н.У.“, что значило „Высшеначальное училище“. Отсюда и пошло — увидят гимназисты высшеначальников и давай кричать:

— Внучки! Внучки!

Ну и лупили же за то наши зареченские ребята этих гимназистов! То плетеными нагайками, то сложенными вдвое резиновыми трубками. А маленькие хлопцы стреляли в гимназистов из рогаток зелеными сливами, камешками, фасолью.

Жаль только, что к нам на Заречье гимназисты редко заглядывали.

Большей частью они жили на главных улицах города: на Киевской, Житомирской, за бульваром, на Ларинке, а многие и около самой гимназии.

¹ Скауты (бойскауты) — буржуазно-националистическая юношеская организация. Во время гражданской войны на Украине петлюровцы усиленно насаждали бойскаутизм; воспитывая в скаутах ненависть к советской власти, петлюровцы готовили из них пополнение для своих банд.



Гимназический сторож Никифор снимал со стен портреты русских писателей.

Наступил понедельник. Ох, и не хотелось в то ясное, солнечное утро в первый раз идти в незнакомую, чужую гимназию.

Еще издали, с балкона, когда мы с Петькой Маремухой и Куницей переходили площадь, кто-то из гимназистов закричал нам:

— Эй вы, мамалыжники, паны цыбульские!¹ А воши свои на Заречье оставили?

Мы промолчали. Хмурые, насупленные, вошли мы в темный, холодный вестибюль гимназии. В этот день у нас, у новичков, никаких занятий не было. Дело-производитель в учительской записал всех в большую книгу, а потом сказал:

— Теперь подождите в коридоре, скоро придет пан директор.

А директор засел в своем кабинете и долго к нам не выходил.

Чтобы убить время, мы слонялись по сводчатым коридорам, съезжали вниз по гладким перилам лестницы, полюбовались в огромное зеркало в гимназической раздевалке, а потом забрели в актовый зал.

Там, в пустом нарядном зале, горбатый гимназический сторож Никифор снимал со стен портреты русских писателей.

— А ну, кламидники, идите сюда! — позвал он нас.

От нечего делать мы стали помогать сторожу.

Угрюмый бородатый Достоевский в золоченой раме чуть не убил Петьку Маремуху. Снимал этот портрет Сашка Бобырь, а Петька стоял внизу и держал стремянку. Сашка прочел фамилию писателя и, держась одной рукой за позолоченную раму, вытащил из кармана никелированный бульдог; дурачась и тыча бульдогом в стекло, он закричал:

— Смерть Достоевскому!

А в это время гнилая веревка, за которую был подвешен на крюк портрет, лопнула, и Достоевский полетел вниз, на Петьку. Хорошо Маремуха быстро отскочил и портрет с треском упал у его ног, а то лежать бы Петьке с проломленным черепом.

Кого только не было здесь под лепными карнизами,

¹ Цыбуля — лук.

на крашенных желтой масляной краской стенах актового зала. Пушкин, Боборыкин, Крылов, Чехов, Писемский, Тургенев, Лермонтов, Державин, — всех их в этот понедельник сдернули со стен, и поехали они в грязную, темную гимназическую кладовую, где обычно хранились только швабры, мокрые тряпки и мел.

Вместо писателей, по распоряжению директора, Никифор стал запикивать под стекло петлюровских министров, но министров оказалось больше, чем писателей, — девятнадцать человек, — и золоченых рам для всех нехватило. Тогда Никифор постоял, поскреб затылок и заковылял в естественный кабинет. Он притащил оттуда целую пачку застекленных картинок разных зверей и животных.

Но только он принялся потрошить эти картинки, как в актовый зал вбежал рассвирепевший природовед Половьян. Природовед поднял такой крик, что мы думали — он убьет горбатого Никифора. Половьян бежал вокруг стремянки и кричал:

— Что ты выдумал, изверг? Да ты с ума сошел! Я не отдам своего муравьеда! Ведь это кощунство! Такой муравьед на весь город один!

А Никифор только огрызнулся:

— Та видчепиться, пане учителю, чо го вы тутечки галас пидняли! Идить до директора.¹

Покружившись в актовом зале, Половьян убежал жаловаться директору, но тот только похвалил горбатого Никифора за его выдумку.

Сторож, хитро улыбаясь, стал выдирать из маленьких, вишневого цвета, рамок львов, тигров, носорогов, райских птичек, а с ними и любимого половьяновского муравьеда.

— Ну, ты, изверг, вылезай, — сказал Никифор, вытаскивая муравьеда из рамки.

Сидя на паркетном полу, Никифор выдергивал клещами из рамки гвоздики, и тогда фанерная крышечка выпадала сама. Никифор вынимал картины и обтирал рамки влажной тряпкой. А мы клали на стекло кого

¹ Да отвяжитесь, господин учитель, что вы здесь крик подняли? Идите к директору.

попало — то морского министра, то министра церковных дел, то хмурого усатого министра просвещения.

Вместе с остальными Куница заколотил в рамку и министра еврейских дел.

Был у Петлюры и такой министр. Даже мы знали, что Петлюра держал его для отвода глаз, а сам гробил и грабил еврейскую бедноту.

Как раз в то время, когда Юзик вешал на стенку министра еврейских дел, в актовЫй зал вошел директор гимназии Прокопович. Осмотрев стены, он поморщился и приказал, показывая пальцем на министра еврейских дел:

— Сняты! Этого не надо. Здесь в углу икона будет, а он иудей.

Когда все портреты были развешаны, сторож Никифор покропил водой паркетный пол актового зала и вымел в коридор весь мусор и паутину.

Вместе с нами он расставил перед сценой несколько длинных сосновых скамеек. Все высшена начальники собрались в актовЫй зал и сели на скамейки. Бородатый директор гимназии Прокопович вылез на сцену, откашлялся и, поставив правую ногу на суфлерскую будку, стал говорить речь.

Половину его слов мы не разобрали. Я запомнил только, что мы — „молодые сыны самостийной Украины“ — должны хорошо учиться в гимназии и заниматься в скаутских отрядах, чтобы, окончив учение, поступить в военные юнацкие школы.

Прокопович сильно ругал большевиков. По словам директора выходило, что большевики и есть те самые нечистые, которых во время наводнения, сжалившись, вывез в своем ковчеге Ной. Прокопович всё клялся и божился, точно знал, что мы ему не поверим.

Маремуха, Сашка Бобырь, Куница и я попали в один класс.

Первое время мы держались вместе и даже могли при случае дать сдачи любому гимназисту. Но потом низенький толстенький Петька Маремуха стал всё больше и больше подмазываться к ловкому и хвастливому гимназисту Котьке Григоренко.

Они, правда, и раньше, по Старой усадьбе, были знакомы друг с другом. Петькин отец, сапожник Маремуха, арендовал у доктора — отца Котьки флигель в Старой усадьбе. Котька иногда приезжал со своим отцом в Старую усадьбу и там познакомился с Петькой. Здесь, в гимназии, они встретились как старые знакомые, Котька вдобавок подкупил Маремуху архивной бумагой с водяными орлами, и эта кубышка, Петька Маремуха, совсем раскис.

Отец Котьки был главный врач больницы. Он позволял своему сыну рыться в больничном архиве и выдирать из пахнувших лекарствами дел чистые листы. Котька часто брал с собой в больничные подвалы и Маремуху — добывать чистую бумагу.

Стоило посмотреть сквозь эту бумагу на свет, и тогда были видны водяные двуглавые орлы. Как их делали, мы с Куницей никак не могли догадаться. А Маремуха выдумывал, что орлов этих рисуют на фабрике салом. Я этому не верил. Мне казалось, что орлов вырезали из папиросной бумаги и незаметно клеивали внутрь каждого листа.

Маремуха не раз бывал у Котьки дома, на Житомирской улице, не раз они вместе ходили на речку ловить раков. Григоренко его и в скауты записал одним из первых.

А вскоре вслед за Маремухой под команду Котьки перекочевал и Сашка Бобыр. Он, дурень, похвастался однажды перед Котькой своим никелированным бульдогом, а Котька и припугнул его, что скажет про бульдог петлюровским офицерам. Вот Сашка Бобыр с испугу и стал подлизываться к Котьке.

Остались неразлучниками только мы с Куницей.

Обидной нам сперва показалась измена Маремухи и Сашки Бобыря, а потом мы плюнули на них и еще крепче сдружились.

И до чего же скучно было учиться первое время в гимназии! Классы здесь хмурые, неприветливые, точно монастырские кельи. Да тут и в самом деле когда-то были кельи.

Раньше в этом доме был монастырь. В монастырских подвалах — слышал я — замуровывали живьем провинившихся монахов. Здание это много раз пере-

страивали, но все-таки оно и внутри и снаружи похоже на монастырь.

Гимназисты, которые и до нас учились в этом здании, чувствовали себя здесь хозяевами. Они позанимали лучшие места на первых партах, а нам, высшеначальникам, осталась одна Камчатка.

Гимназисты такие вредные, у них столько форсу, что даже противно. Ножика, очинить карандаш, — и то не допросишься.

А гимназические учителя нудные, злые, слова лишнего не скажут, точно настоятели монастырские.

Не раз вспоминали мы Валериана Дмитриевича Лазарева, его интересные уроки по истории, прогулки с ним в Старую крепость.

Тут, в гимназии, общую историю сразу отменили, а вместо нее, стали мы учить историю Украины по Грушевскому. А учителем истории директор назначил попа Кияницу из петлюровской автокефальной церкви.¹

Высокий, обросший рыжими волосами, в зеленой рясе, с тяжелым серебряным распятием на груди, он стал приходить в класс задолго до звонка. Мы еще по двору бегаем, а он уже тут как тут.

Кияница преподавал историю скучно, неинтересно. Часто посреди урока он вдруг останавливался, кряхтел, тербил свою рыжую бороду и лез за помощью в учебник Грушевского. А когда ему надоедало рыться в этой толстой, тяжелой книге, он начинал задавать нам вопросы.

А однажды Кияница венчал адъютанта самого Петлюры и пришел в гимназию прямо со свадьбы. От него здорово пахло водкой, а в густых рыжих волосах краснели кружочки конфетти. Видно, петлюровские офицеры осыпали нашего попа, как барышню, этим конфетти. Кияница поднялся на второй этаж и двинулся прямо в директорскую за учебниками. Он прятал учебники в шкафу у директора. А в этот день директора вызвали в министерство просвещения. Он ушел и, закрыв свой кабинет, унес ключ с собой. Кияница

¹ Автокефальная церковь — самостоятельная, не подчиненная власти патриарха другой церкви.

покрутился около директорской, заглянул в замочную скважину, потом плюнул с досады и, пошатываясь, вошел к нам в класс. Он долго хмыкал что-то непонятное под нос, совал длинные свои руки под кафедру, кашлял, а потом вдруг пробурчал:

— Ну-с, так... Да... Так... Сегодня, дети... сегодня мы вспомним, что я рассказывал вам о крепости Кодак... Крепость Кодак знаменита тем, что ее построил около Днепровских порогов... Кто построил крепость Кодак? Ну вот как тебя, отрок?— и поп ткнул пальцем прямо в Маремуху.

Бедный Петька не ожидал такого каверзного вопроса. Он завертелся на скамейке, оглянулся, потом вскочил и, краснея, сказал:

— Маремуха!

— Маремуха?—удивился поп.—Ну-с, объясни нам, отрок Маремуха, кто построил крепость Кодак?

В классе наступила тишина. Было слышно, как далеко за Тарнопольским спуском проехала подвода. Кто-то свистнул на гимназической площади. Петька долго переминался с ноги на ногу и затем, собравшись с духом, выпалил:

— Мазепа!

— Бреешь, дурень!—оборвал Маремуху поп.—Мазепы тогда еще на свете не было... Крепость Кодак построил... построил... да... построил иудей Каплан, а наш славный рыцарь атаман Самуил Кошка сразу взял ее в плен...

— Нет, не Кошка!—дрожащим голосом на весь класс сказал Куница.

Поп насторожился, вскинул кверху голову и грозно спросил:

— Кто сказал—не Кошка? А ну, встань!

Куница встал и, опустив глаза вниз, бледный, взволнованный, глядя в чернильницу, тихо ответил:

— Я сказал—не Кошка.

Мне было очень боязно за Юзика. Я ждал, что Кияница набросится на него с кулаками, избьет его здесь же, у нас на глазах. Но поп, опираясь здоровенными своими лапами на кафедру, нараспев, басом сказал:

— А-а, это, значит, ты такой умник? Чудесно! Итак,

ты утверждаешь, что я извращаю истину? Тогда выйди, голубчик, сюда и расскажи нам, кто же, по-твоему, построил крепость Кодак?

Поп думал, что Куница испугается и не ответит, но Куница выпрямился и, глядя попу прямо в глаза, твердо сказал:

— Крепость Кодак построил совсем не Каплан, а французский инженер Боплан, а в плен ее захватил никакой не Кошка, а гетман Сулима.

— Сулима? — переспросил поп и закашлялся.

Кашлял он долго, закрывая широким рукавом рот. В эту минуту в классе еще сильнее запахло водкой. Накашлявшись вдоволь, красный, со слезящимися глазами Кияница спросил:

— Кто же это тебя научил такой ерунде?

— Валериан Дмитриевич научил, — смело сказал Юзик и добавил, поясняя: — Лазарев.

— Ваш Лазарев ничего не знает! — вспыхнул поп. — Ваш Лазарев богоотступник и шарлатан!

— И то неправда! — сказал Куница. — Лазарев все знает.

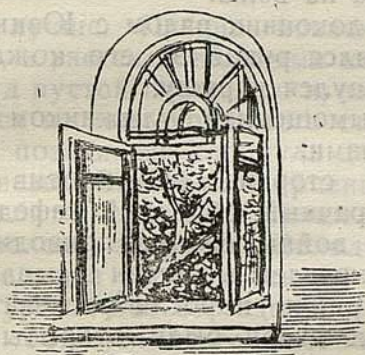
— Что?! — заорал поп. — Неправда? А ну, стань в угол! В угол пошел, дрянь несчастная! На колени!

Даже стекла задрожали в эту минуту от крика Кияницы, а я чуть не залез под парту со страха. Бледный Юзик подождал немного, а потом тихо пошел к печке и стал там, в углу, под задымленной черной заслонкой, на колени.

После этого случая все мы еще больше возненавидели патлатого попа Кияницу. Откуда его, такого рыжего, выкопали на нашу голову, никто не мог понять. Наверное директор Прокопович не нашел среди учителей города историка, который мог бы хорошо говорить по-украински.

Кияница разве историк? Ему бы мертвецов на кладбище отпевать или по домам с кропилом ходить.

То ли дело был у нас Лазарев! Вспомнишь, и грустно становится, что Петлюра разлучил его с нами...



ПУСТОЙ УРОК

Сегодня у нас немецкий. Немца мы ждем долго. Уже звонок давно прозвонил, а он все не идет.

Кунице надоело сидеть на парте. Он влез на подоконник и, не раздумывая, щелкнул никелированной задвижкой.

— Гляди, Юзик, Цузамен тебя заругает! Он боится сквозняков! — крикнул Петька Маремуха с задней парты.

Куница только упрямо мотнул головой и молча, не отвечая Маремухе, потянул к себе кривую оконную ручку.

Коричневая замазка посыпалась на пол.

Окно медленно, со скрипом раскрылось.

Теплое, солнечное утро ворвалось в наш пыльный класс; мы услышали за окнами веселые скворечьи голоса. На кафедральном соборе глухо ворковали голуби, за площадью, на Житомирской улице, кричали дети, — город, оставленный нами там, за сырыми стенами гимназии, жил своей обычной, суетливой жизнью.

И нас всех сразу потянуло к окнам, к городскому шуму.

По классу загуляли веселые сквозняки, засеребрилась пыль над пустыми партами. Комната сделалась просторнее, шире — словно стены ее раздвинулись.

Запахло весной, полями, и еще сильнее захотелось убежать отсюда на волю.

Я лег на подоконник рядом с Юзиком. Чтобы не упасть, я уцепился рукой за его кожаный пояс и до половины высунулся наружу.

Знакомая, вымощенная булыжником площадь растянулась перед нами.

На другой стороне ее, против здания гимназии, высился мрачный, облезлый кафедральный собор. Еще с начала войны его не приводили в порядок. С толстых закругленных стен осыпалась штукатурка, кое-где кирпичи поросли рыжеватым мхом. Высокие сводчатые двери были открыты. В соборе шла служба.

Толстенкий Петька Маремуха вдруг соскочил с подоконника и кинулся к печке. Он пошарил рукой в углу, вытащил оттуда измятого бумажного голубя, вернулся на подоконник и, приподнявшись на левом локте, выбросил голубя в открытое окно.

Плавнo покачиваясь, голубь пролетел над каштанами и упал на камни далеко на площади.

— Да разве так бросают, эх, ты, сальтисон! Это не голубь, а ворона ободранная! Гляди, Петька, я сейчас до самого собора доброшу! — крикнул из соседнего окна Котька Григоренко.

Голова его тотчас же исчезла, и он спрыгнул с подоконника на пол.

Мы обернулись. Подпрыгивая и на ходу одергивая новенькую курточку, Котька подбежал к своей парте, вытащил серый пушистый ранец и вытянул из него наудачу первую попавшуюся тетрадку.

Даже не поглядев, что это за тетрадка, Котька вырвал из нее задние чистые листы. Потом он сложил их конвертиками, быстро смастерил трех голубей, приладил им хвостики, загнул клювы и ловко вскочил на подоконник.

Нежным, плавным толчком выбросил он первого голубя. Голубь — мы сразу заметили — пошел тяжело, будто клюв у него был свинцовый. Дважды он неловко вильнул хвостом и, не долетев даже до Петькиного голубя, завертелся и штопором упал на землю.

„Эх ты, задавака!“ чуть было не крикнул я Котьке.

Но в это время два другие голубя уже вылетели из окна.

Эти летят лучше. Плавно покачиваясь, словно живые турманы, и рассекая толстыми клювами воздух, скользят они над пустой площадью и, наконец, потеряв силу, опускаются на землю у самого собора.

В это время позади нас хлопнула дверь, и в класс ворвался долговязый Володька Марценюк.

— Ур-р-а, ребята! Немец не пришел! — размахивая классным журналом, закричал Володька. — Честное слово, не пришел, два урока пустые!

Два пустых урока! Вот это здорово!

До каникул остается всего несколько дней. На дворе — теплынь, скоро каштаны зацветут. Зареченские хлопцы уж давно бегают в гимназию босиком. Из щелей каменного забора на гимназическом дворе выползали красные жучки — „солдатики“. Целыми семьями греются они на солнце, неподвижные, отоппавшие за зиму. Греются и только изредка усами шевелят. Во дворе хорошо, а в классах хмуро, пыльно, неприветливо. Так бы и выбежал туда, во двор, под яркое солнце, на теплые камни мостовой. Разве можно торчать в классе в такую пору?

Молодец Цузамен, что опять не пришел на урок.

На прошлой неделе совсем низко над городом, тяжело урча, пролетел большой двухмоторный немецкий аэроплан. Весь серый, блестящий, с черными крестами на широких крыльях, он появился в небе совсем неожиданно и, описав два круга над Старой крепостью, опустился на зеленый луг за городом, около свечного завода. И не успел еще затихнуть дрожащий гул обоих его моторов, как со всех улиц города туда, на зеленый луг, к окруженному камышом заводскому озеру, побежали ребята. Мы с Петькой Маремухой поспели первыми. От нашего Заречья до этого луга рукой подать — только подняться вверх по Госпитальной до бойни, а там и свечной завод.

Пока мы бежали к аэроплану, летчики, в кожаных шлемах, в очках, уже успели вылезть из кабинки. Разминаясь, они ходили по траве, и головы их были

вровень с крыльями. Они были широкоплечие, рослые, в желтых коротеньких куртках, в блестящих крагах, в коричневых штанах с пуговками у колен.

Даже не взглянув на сбежавшуюся толпу, летчики стали вытаскивать из аэроплана какие-то продолговатые, обшитые фанерой и обтянутые блестящими стальными полосками пакеты. Они укладывали эти пакеты на траву около аэроплана так осторожно, словно там была стеклянная посуда.

А вскоре на вонючем и длинном малиновом автомобиле приехали петлюровские офицеры. Они откозыряли летчикам и первым делом отогнали нагайками от аэроплана ребят, зареченских и городских.

Мы с Петькой Маремухой полезли на забор свечного завода. Петька чуть не разорвал штаны о какой-то ржавый гвоздь. Мы сидели на заборе долго. За спиной у нас было тихое, спокойное озеро, под самым забором шелестел тонкостволоый камыш с коричневыми, гнущимися от ветра кутасиками.

Бархатистые кутасики щекотали нам ноги, а мы, сидя на заборе, разглядывали распластавшийся на лугу аэроплан. Вот уже петлюровцы погрузили в свою малиновую машину пакеты, обтянутые стальными лентами. В это время подкатила, гудя рожком, другая машина. В нее сели летчики, пассажиры и укатили вместе с петлюровцами в город, оставив около аэроплана стражу и надев на оба пропеллера зеленые брезентовые чехлы.

Несколько дней в городе только и было разговоров, что о сером немецком аэроплане.

На нем прилетел из Берлина бывший военный министр Центральной рады¹ Порш. Не только в Киеве, но даже и в нашем маленьком городе все хорошо знали, что Порш — отчаянный жулик, что он украл в министерстве несколько миллионов карбованцев, поехал с ними в Германию и на эти деньги купил себе в Берлине, на самой главной улице, большой красивый дом. И вот теперь он вернулся на Украину —

¹ Центральная рада — правительство украинской буржуазии, сменившее власть русского царя на Украине. Пр-датели националисты из Центральной рады привели в 1918 году на Украину немецких интервентов.

важным нарядным гостем, чтобы проведать своего старого друга Петлюру.

Вместе с Поршем на аэроплане прилетели немецкие инженеры. Они привезли Петлюре из Берлина отпечатанные там петлюровские деньги и должны были помочь ему печатать такие же деньги здесь, в гайдамацкой денежной экспедиции, которую недавно открыли в здании духовной семинарии.

Нашего учителя немецкого языка, Густава Адольфовича Оттерсбаха, прозванного Цузаменом, приставили переводчиком к прилетевшим из Берлина немцам.

Оттерсбах водил немцев по городу, показывал им крепостные башни, что-то объяснял, размахивая длинными, как жерди, худыми руками. Он целые дни с ними ходил, с утра до позднего вечера.

Ребята из соседнего класса сами видели, как он, показывая дорогу немцам, первый сунулся с фонарем в руках в подземный ход около Крепостного моста.

Вот и сегодня он снова, небось, таскается со своими длинноногими инженерами, потому и не пришел в гимназию.

Кто-то из ребят на радостях, что Цузамена опять не будет, застучал крышкой парты, словно застрочил из пулемета.

— Тише! — цыкнул на него дежурный. — Прокопович наверху шатается. Выкатывайтесь-ка лучше на улицу.

Мы выкатываемся. Вместе с нами и Марценюк. Веселое у него сегодня дежурство. Не надо бегать за мелом и мокрой тряпкой. Доска так и стоит со вчерашнего дня чистой, нетронутой.

На цыпочках, гуськом мы пробегаем по сырым коридорам. Во всех классах тихо. Там уже начались уроки. Через стеклянные двери видны головы ребят, повернутые, как подсолнухи, в одну сторону — к дубовым кафедрам, на которых восседают учителя. Голосов почти не слышно.

Сейчас гимназия, с ее узкими сводчатыми коридорами, полутемными нишами, кажется вымершей. А как страшно, небось, здесь ночью, когда сторож Никифор, закрыв на всякий замок парадные двери, медленно уходит к себе домой, во флигель.

Страшнее, чем на кладбище.

В классах тогда пусто, темно, каштановые ветви царапаются в окна, как совы. Закричишь в каком-нибудь углу, и враз ответят тебе все три пустых длинных коридора. Откликнутся нежилые классы, и пойдет по всему этому высокому ободранному зданию такой крик, гул, скрежет, что и у самого отчаянного восьмиклассника с перепугу сердце замрет.

По истертым мраморным ступенькам главной лестницы мы бежим в коридор первого этажа, а оттуда по черному ходу выскакиваем во двор.

Усеянная желтым песчаником футбольная площадка пуста и как будто поджидает нас. Гимназические уборщицы чисто вывели площадку, выщипали проросшую местами траву: сегодня вечером здесь будет первый скаутский парад.

— В чехарду или в пуговички? — закричал Марценюк, выбегая на середину двора.

— В цурки! В чижа!

— В сыщика и вора! — закричал Куница, вскарабкавшись на высокий пенек около забора.

— Ну, опять в сыщика... — процедил сквозь зубы Котька Григоренко. — Побежали лучше в сокольский зал, я покажу, как разножку на брусьях делать!

Сокольский зал находится в бывшем хлебном амбаре возле доминиканского костела, в котором служит ксендз Шуман. На деревянном полу сокольского зала поставлены турники, брусья и обтянутые желтой кожей кобылы. Там по вечерам занимаются петлюровские скауты. Их обучает сокольскому делу старый одноглазый чех Вондра.

Вся грудь у Вондры расписана фиолетовыми орлами, хвостатыми женщинами и страшными скелетами. С тех пор как он стал заниматься со скаутами и все увидели его разрисованную грудь, наши ребята с ума посходили. Макая булавку в чернила или в тушь, они накалывали на грудь и на руки себе и друг другу самые замысловатые узоры. Володьку Марценюка, нашего сегодняшнего дежурного, до того искололи, что у него, вместо рисунков, нарывы пошли.

Котька Григоренко со своими скаутами тоже каждый вечер ходит на выучку к одноглазому соколу

Вондре. Он ловко скачет там через самую длинную кобылу, на кольцах делает жабку и крест, но лучше всего Котька кувыркается на турнике. Правда, вчера, делая „солнце“, он сорвался с турника и, проехав несколько шагов по грязному полу сокольского зала, ободрал левую щеку до крови. Под левым глазом у него сейчас багровая ссадина. Даже нос от ушиба слегка подпух. Так ему, хвостуну, и надо! Пусть задается поменьше своими фокусами. Наколачивать шишки каждый может.

— А ну его, твой сокольский зал! — закричал я.

— В сыщика и вора! В сыщика и вора! — завопил Петька Маремуха, искоса поглядывая на своего прилизанного дружка Котьку Григоренко.

Маремуха толстоват, неуклюж, пожалуй ниже всех нас, настоящая коротышка. Ему в сокольском зале и вовсе делать нечего. Зато „сыщики и воры“ — его любимая игра.

— Ну так что ж, хлопцы, давай в сыщики. Времени у нас много, — говорит Куница, чувствуя, что перевес на нашей стороне.

Кому же быть сыщиком, кому вором? Как всегда, нас рассудит палка. Тот, чья рука последней охватит суковатую верхушку палки, — сыщик.

Когда все перемерились, вышло, что я, Петька Маремуха, Володька Марценюк, Юзик Стародомский и еще несколько ребят — воры.

Сашка Бобырь, Котька Григоренко и другие, не попавшие в нашу компанию, — сыщики. Главным сыщиком они выбрали Котьку Григоренко.

Котька сперва отказывался. Ему было обидно, что ребята не захотели пойти с ним в сокольский зал. Но, поломавшись немного, он согласился.

Что ни говори, а быть атаманом сыщиков, Нат Пинкертоном, почетное дело.

Ну, будет жара! Держись, воры!

Хоть и маменькин сынок Котька, хоть и водится он больше со своими приятелями-панычами, которые и раньше, при царе, учились в этой гимназии, но он ловкий, хитрый, пронырливый, знает все ходы и убежища. От него надо прятаться получше, — того и гляди, поймает!

Правда, и у нас ребята ничего, один вот только Петька Маремуха тяжеловат на подъем.

Вслед за своим атаманом сыщики сняли пояса, свернули их в трубки, а потом растянули: получились самодельные револьверы.

Конопатый Сашка Бобырь потихоньку вытащил из кармана свой маленький блестящий бульдог. Сашка опустил револьвер дулом вниз и оглянулся. Он боялся, не следит ли за ним какой-нибудь гайдамак с улицы.

Под командой Григоренко сыщики уходят в подвал, честно побожившись не подглядывать, куда мы побежим.

Уговор такой: они считают до ста двадцати и дают из подвала первый свисток. Затем снова отсчитывают сто двадцать и свистят второй раз. И только после третьего свистка они имеют право искать нас.

— Чур-чур не подглядывать! — закричал вдогонку сыщикам Петька Маремуха.

— И так всех переловим! — огрызнулся Сашка Бобырь и погрозил Маремухе своим блестящим бульдогом.

Котька, пропустив всех сыщиков в подвал, остановился у порога. Он раздвинул ноги, его серая курточка распахнулась, синяя с белыми кантами гимназическая фуражка съехала на затылок, а из-под лакированного козырька выбивались черные волосы.

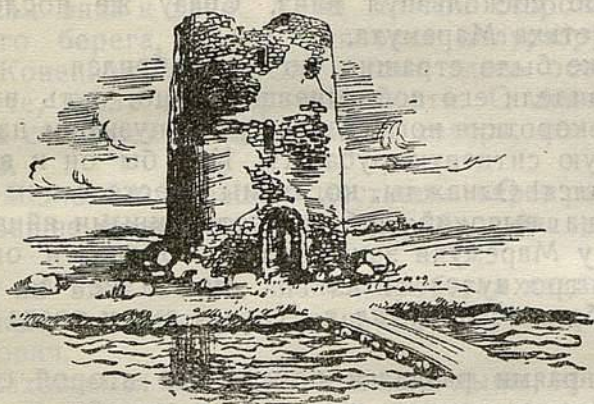
— Слушайте вы, куницыно племя, — торжественно сказал Григоренко, поправляя фуражку, — замрите здесь и ждите свистка. Если кто убежит до свистка — враз выходит из игры. Поняли?

Мы поняли. Переминаясь с ноги на ногу, мы стоим на площадке, около подвала. Наконец Котька нырнул в подвал к своей команде. Сейчас свистнет.

Но свистка все нет. Что же он так долго? Этак все время зря уйдет.

И вот, наконец, из-под низких сводов подвала донесся к нам первый свисток.

Словно от толчка, мы срываемся с места и, подгоняя один другого, мчимся за каменные гимназические сараи.



БАШНЯ КОНЕЦПОЛЬСКОГО

Колокольная улица пролежала внизу, под высокой стеной гимназического двора.

Она совсем близко, рядом, а вот добраться до нее не так-то просто. Надо сперва выйти на площадь, обогнуть кафедральный собор, спуститься вниз по крутому Гимназическому переулку, и лишь тогда можно попасть на Колокольную.

Но мы не дураки! Пусть учителя и директор ходят той дорогой. У нас был свой путь на Колокольную.

По обеим ее сторонам стояли высокие телеграфные столбы. Один из них торчал у самого забора. Стоило взобраться на забор и протянуть руку — можно было дотронуться до белых изоляторов на верхушке этого столба.

Однажды Куница придумал: а что, если съехать вниз на Колокольную по столбу? Попробовали, не шатается ли столб. Оказалось, столб вкопан крепко, гладко обструган: ладоней не занозишь.

Куница отважился съехать первым. С того дня телеграфный столб часто спасал нас и от ремней старшеклассников и от бородатого Прокоповича.

Вот и сейчас мы подбежали к этому самому столбу.

Первым взобрался на стену Володька Марценюк. Протянув вперед руки, он припал к столбу грудью и быстро соскользнул вниз. Сразу же после него полез Петька Маремуха.

Петьке было страшно, но он храбрился.

Мы видели его побледневшее лицо, чуть вздрагивающие короткие ноги, вздувшуюся пузырем на спине полосатую ситцевую рубашку. Как бы он и вправду не сорвался! Однажды, когда мы вместе с ним карабкались на высокий дуб за ястребиными яйцами, от высоты у Маремухи закружилась голова, и он чуть было не грохнулся на землю. „Вот и сейчас слетит, чего доброго“, подумал я. Что мы с ним тогда делать будем?

За сараями раздался протяжный второй свисток.

Маремуха припал животом к столбу и поехал, наконец, вниз.

Ну, как будто все обошлось благополучно.

Один за другим мы съезжали по гладкому столбу на Колокольную улицу. Кто-то стукнул меня ногой по голове: это Куница так разъехался. Мы оба спрыгнули на землю почти разом.

Внизу нас поджидал Маремуха.

— Хлопцы, я — с вами? — спросил Петька.

— Не надо, без тебя обойдемся! — отрезал Куница и повернулся ко мне.

— Давай сюда! — прошептал он, кивая головой на узкую лазейку в кустах язвеня.

Оставив Петьку одного, мы перебежали улицу и нырнули с разгону в колючие кусты. Согнувшись, мы пробирались над обрывом по извилистой, чуть заметной в частых кустах тропинке.

Густые колючие ветки переплелись вокруг нас и над нами, как проволочные заграждения. Под ногами чернели крючковатые корни язвеня, влажная, не просохшая еще с весны земля, осколки пивных бутылок, ржавые завитки жести.

Мы бежали осторожно, чтобы не порезать босые ноги. Какая то пестрая птишка выпорхнула у меня перед самым носом.

Мы бежали молча, не оглядываясь. Ведь за спиной — погоня!

Вот и Турецкая лестница. Давно-давно — лет триста назад — построили ее турки. Лестница круто спускается по скалам вниз к реке. А на другой стороне реки, у самого берега, видна одинокая полуразрушенная башня Конецпольского. Она стоит здесь особняком, на отлете, вдали от Старой крепости. С давних времен она стережет вход в город с севера, со стороны Заречья.

От подножья Турецкой лестницы через реку, прямо к башне Конецпольского, переброшена дощатая кладка.

Вот по этой самой кладке пробежал недавно, отстреливаясь от гайдамаков, наш сосед, курчавый Давид Лейзерович.

— Заховемся в башне! — тяжело дыша, предложил Куница.

Я кивнул головой.

Спускаться по Турецкой лестнице — самое милое дело. По бокам ее почти до самой реки шли прочные дубовые перила. Сверху они гладкие, словно отполированные.

Мы легли на перила и поехали вниз пролет за пролетом, не успевая пересчитывать бегущие кверху выщербленные ступеньки. На воротнике у меня оборвалась пуговка, и живот нагрелся так, будто горчичник прилепили.

Не оправляя сбившихся рубах, растрепанные, словно после драки, мы вскочили на узкую кладочку. Под ногами забурила быстрая, пенистая вода. Доски скрипели, гнулись, и вся кладка колыхалась под нами, как живая, будто с берега кто-то из озорства раскачал ее.

Мы ворвались в каменные двери башни Конецпольского и сразу же по витой лестнице взбежали на второй этаж. Здесь-то нас не найдут!

Усталые и потные, мы упали прямо на траву. Куница сразу же подполз к единственной амбразуре. Она была похожа на перевернутую замочную скважину. Через амбразуру был хорошо виден противоположный берег реки с Турецкой лестницей и половина дощатой кладки, по которой мы только что бежали.

Если сыщики пустились бы за нами по Турецкой лестнице, Юзик мог их сразу заметить, и у нас хватило бы времени запрятаться в другом месте.

В башне Конецпольского было тихо и прохладно. Мраморный, почти развалившийся камин белел в стене. Потолка над башней не было, он давно обвалился, лишь одна полусгнившая балка, как пушка, торчала из каменной стены. В этой толстой замшелой стене были выбиты три высоких просторных ниши. Должно быть в них, осажденные запорожцами, паны Конецпольские складывали порох и тяжелые чугунные ядра. Весь пол второго этажа зарос сочной, густой травой, а из камина выглядывал кустик голубых незабудок. Трава под стеной была примята. Видно, здесь кто-то был. Уж не Давида ли это следы остались в башне? Ну, конечно же Давида! Ведь совсем недавно он палил отсюда по гайдамакам. Должно быть он лежал у самой амбразуры с наганом в руке — вот так, как лежит сейчас Куница, — прижавшись животом к мягкой траве, широко раскинув ноги.

Ох, и ловко же Давид тогда подстрелил чубатого гайдамака. Видно, Давид хороший стрелок: из нагана на таком расстоянии не всякий попадет. Если тот гайдамак остался жив, то, наверное, долго будет помнить эту башню Конецпольского.

Неужели гайдамакам удалось поймать Давида Лейзеровича?

Но ведь даже там, в самом центре города, он сумел провести петлюровцев, — неужели же здесь, на окраине Заречья, они смогли его зацапать?

— Послушай! А я думаю, он все-таки удрал отсюда. Вот было бы здорово!

— Кто удрал? — спросил Юзик и повернулся лицом ко мне. — Ты про кого, Васька?

— Про Давида... Помнишь, как он палил из этой бойницы по гайдамакам?

— Ах, ты про Давида! — сказал Куница и вырвал из расщелины клоч сочной травы. — Ну, да где им Давида поймать... Он хитрый, как щука, десятерых гайдамаков проведет... Знаешь, я даже думаю — он далеко и не удрал, а живет себе потихоньку где-нибудь здесь в городе или в подземный ход забрался.

Я вот позавчера шел мимо Крепостного моста, присел там отдохнуть, а возле меня два мужика поили коней и про этот подземный ход говорили. Один божился, что в подземном ходе под крепостью тысячи две большевиков сидят. Он говорил, что большевики нарочно Петлюру в город пустили, чтобы ему назад дорогу перегородить. Вот будет темная-темная ночь — ни звездочки на небе, ни месяца, — тогда выйдут все большевики с фонарями из подземного хода и петлюровцев в плен поберут, а самого Петлюру с Крепостного моста в водопад кинут.

— Так как же они там сидят? Есть-то им надо?

— Ну, у них там много разных запасов. Красные, прежде чем уйти из города, понавозили туда и сала, и фасоли, и пшена, и хлеба. Сидят под землей и кулеш варят.

— Постой! А дым-то куда?

— Дым? — Куница задумался. — А, наверное, они в крепостные башни дымоходы вывели, и через них весь дым наверх улетает.

Ну уж это, по-моему, брехня. Кто-нибудь из них врёт — или мужик, или Куница.

— Ты правду говоришь?

— А то вру? — обиделся Куница. — За что купил за то и продаю!

И замолк.



ДРАКА

Скоро мне наскучило сидеть в башне Концепольского. Сычиков не слышно, — может, они позабыли про нас? А что, если выбежать отсюда, захватиться в другом месте?

— Юзик, — сказал я, — знаешь, мы не по правилу играем.

— Почему не по правилу?

— А вот почему. Ты ведь у нас атаман, ты должен командовать всеми ворами, а не прятаться здесь со мной.

— Нет, — ответил Куница, не глядя на меня. — Я должен скрываться. Простого вора сцапают — не велика беда, а если я попадусь в руки к сыщикам, вся шайка развалится. А потом... — Куница замаялся. — Побожись, что никому не скажешь.

— Пусть меня гром побьет, пусть я провалюсь с этой башней в реку, пусть...

— Ладно, — оборвал меня Куница, — теперь слушай. Мой батяка сегодня где-то под нашей гимназической стеной должен ловить собак. Их много там развелось. А я вовсе не хочу на него напороться. Увидит, что я, вместо занятий, по улицам шляюсь — такую баню.

задаст. Он злой теперь. Вчера кто-то оторвал у нас в сарае доску, и все собаки, каких батя на базаре поймал, разбежались...

Так вот оно в чем дело! Куница отца напугался.

Отец Куницы — низенький, рыженький старичок в замасленном картузе — собаколов. Он ловит собак для хозяина городской живодерни Кумченко, а тот убивает их, сдирает шкуры, а собачье сало продает на мыловаренный завод. Отец Куницы часто разъезжает по городу на длинном фургоне, который тащит пегая жидкохвостая кляча. Одна стенка фургона затянута железной решеткой, и сквозь нее в собачью тюрьму проходит воздух.

Когда эта черная громяющая колымага катится по улицам города, за ней с криками мчится целая толпа мальчишек. Пойманные собаки визжат, бросаются на решетку, как шакалы в зверинце. А мальчишки, обгоняя друг друга, бегут за фургоном, выкрикивая:

— Гицель! Гицель!

Так в нашем городе зовут собаколовов. И отца Куницы тоже зовут гицелем.

Нередко и Юзика наши хлопцы поддразнивали этим обидным прозвищем. Тогда он свирепел и бросался на обидчиков с кулаками. Однажды он из-за этого подрался с Григоренко. Котья вздумал рассказывать, что по утрам, перед тем как отправить Юзика в школу, мать жарит ему котлетки из свежей собачатины. А Юзик, как назло, где-то поблизости оказался. Услышал он этот разговор и бросился на Котью с перочинным ножиком. Хорошо, их вовремя успели разнять. Григоренко сейчас же побежал в директорскую жаловаться, но, к счастью Куницы, директора не было, и на тот раз все обошлось благополучно.

Зато на прошлой неделе, когда у нас в гимназии стали записывать в скауты, Котья припомнил старое и решил отплатить Кунице. Котья — скаутский звеновод — сам записывал охотников. Сашка Бобырь посоветовал и Кунице записаться, но Григоренко наотрез отказался принять Юзика в отряд.

— Твой отец — гицель. Он ловит собак, а ты ему помогаешь. А скауты, наоборот, должны защищать

животных! — важно объяснил он Стародомскому и добавил: — Мне кошевой¹ не разрешил записывать тебя в скаутский отряд!

С той поры Куница еще больше возненавидел Котьку Григоренко.

— А знаешь, — Юзик, сказал я Кунице, — ведь сегодня вечером скауты собираются на гимназическом дворе. У них будет парад. Пойдем поглядим?

— Да чего ты пристал со своими скаутами? — вдруг обозлился Куница. — Чего я у них не видел? Ноги голые, на плечах какие-то поганые ленты, в руках палки. Кто хочет, тот ими и помыкает. Вот погоди, придут красные, мы к ним в разведчики запишемся. А ты — скауты...

Служить в разведчиках у красных — была Куница давнишняя мечта. Он ждал прихода большевиков, чтобы уехать в Киев: у него там дядька у красных служил, — дядька обещал пристроить Куницу в такую школу, где разведчиков обучают. Я, правда, хорошо не знал, есть ли такая школа, но Куница мне все уши прожужжал о ней.

„Оно бы, конечно, хорошо поступить туда, — думал я, — да у меня в Киеве никого нет, поступить мне в школу разведчиков не удастся, — можно помаршировать и со скаутами“.

Говорят, они скоро идут на маевку в Нагорянский лес. Хорошо бы мне пойти с ними. Ведь в Нагорянах живет мой дядька Авксентий, а сейчас у него скрывается отец, — вот бы я их и проведаль. Беда только, что и меня, как Куницу, в скауты, пожалуй, не примут. Ну, конечно, не примут. Их начальник, курносый Марко Гржибовский, очень зол на моего отца.

Еще когда были живы Лейзеровичи, мой отец как-то заступился за старого Исаака. Исаак сделал Марко сапоги, а тому они не понравились. Марко стал придираться и ругать Исаака, а потом ударил его каблуком нового сапога по лицу. У старого Лейзеровича из носу пошла кровь. Мой отец в это время тоже

¹ Кошевой — атаман у запорожских казаков. Петлюровские скауты, подражая запорожцам, тоже называли своего предводителя кошевым.



Гицель! Гицель! — кричат мальчишки и бегут за фугоном.

был у Лейзеровича. Он схватил Марко за шиворот, вытолкнул его из мастерской и спустил с крыльца вниз, на мостовую.

Злой, взъерошенный Марко долго стоял на улице, грозил кулаком и кричал моему отцу:

— Выискался тоже гадючий заступник! Погоди, погоди, будешь знать... Покажут тебе... Припомнишь...

Драться с моим отцом он побаивался: знал, что отец надает ему.

Сейчас Марко — кошевой, он всегда носит шпоры и большой маузер. Один раз его даже видели в машине с самим Петлюрой. Если бы Марко припомнил, что я сын того самого Мирона Манджуры, который вышвырнул его на улицу, меня не только бы в скауты не приняли, но, кто знает, может быть и из гимназии выгнали.

Я старался не попадаться на глаза Гржибовскому, когда он, звеня шпорами, проходил по коридорам в директорскую к бородатому Прокоповичу. А скаутам мне оставалось только завидовать да подглядывать из-за угла, как они маршируют.

— Васька, слышишь? — вдруг дернул меня за рукав Куница и тотчас же прижался вплотную к амбразуре.

— Что такое, Юзик? Ну-ка, пусти!

Но Куница заслонил всю амбразуру.

— Погоди, не мешай, — кажется, бегут сюда! — прошептал он.

И впрямь, через верхний пролом, что над башней, донеслись к нам чьи-то очень знакомые голоса. Говорили быстро и отрывисто.

Голоса приближались к башне справа, от заросшего берега реки, — обычно тут никто не ходил. Скалы в этом месте примыкали к реке, вода омывала их каменные подножья. Чтобы пройти здесь, надо было разуться и шлепать прямо по воде.

Вдруг среди этих голосов я узнал знакомую скороговорку Котьки Григоренко.

Эх, проворонили! Котька зашел нам в тыл. Надо убегать, но, кажется, уже поздно. Внизу, у самого подножья башни, захрустел щебень.

Куда бежать?

Выход из башни один, а сейчас возле него сыщики. Выглянешь — сразу зацапают.

Может, вылезть на стенку башни? Ну хорошо, а дальше куда? Вниз ведь не прыгнешь — высоко, а сидеть без толку вверху, ворон пугать — стыдно.

— Идут сюда! Ложись, спрячься! — прошипел Юзик, отскакивая от амбразуры.

Круглая ободранная башня пуста, и спрятаться в ней решительно негде. Разве... в нишах? Не раздумывая, мы оба бросились в эти темные, просыревшие впадины и замерли там, словно святые на доминиканском костеле.

Но уже в нижнем этаже треснула под чьим-то каблуком щепка.

Заскрипела деревянная лестница.

Кто-то из сыщиков поднимался вверх. Едва дыша, я еще плотнее прижался к холодным камням.

И вдруг меня оглушил злорадный крик Сашки Бобыря:

— Хлопцы, сюда! Они здесь!

Через несколько минут нас вывели на берег под руки. Сыщики окружили нас. Сашка Бобырь, то и дело щелкая незаряженным блестящим бульдогом, шел сбоку. Не удрать было от проклятых сыщиков — догнали бы, да и удирать-то мы по уговору не имели права.

Эх, лучше бы мы запрятались на воле, в кустах за Колокольной или в подвале армянского костела. А все — Куница. Вот холера, затащил меня сюда, в эту чортову башню, отца побоялся...

Проклятые сыщики! Как они вертелись вокруг нас, шумели, подсмеивались!

Но больше всех суетился Котька Григоренко. Он размахивал своим револьвером, две пуговицы на его форменной гимназической курточке были расстегнуты, фуражка заломлена на затылок, а хитрые карие, цвета густого чая, глаза так и бегали от радости под черными бровями.

— Свяжите им руки! — вдруг приказал он.

— Не имеете права! — огрызнулся Куница — Разбойникам никогда рук не вязали!

— Вы сморкачи, а не разбойники, а ты хорек, а не куница. Знаешь ты много, что можно, а что не можно, — с важным видом заявил Котька, застегивая курточку. — А ну, хлопцы, кому я сказал? Вяжите потуже, чтоб не задавались.

Сашка Бобырь засунул в карман бульдог и подбежал к Юзику. Куница стал отбиваться, я бросился ему на помощь. Но в ту же минуту Котька Григоренко, подбежав сзади, прыгнул ко мне на плечи.

— Пусти! — закричал я. — Пусти! — А сам, широко расставив ноги и тяжело переступая, старался подойти поближе к толстой акации, чтобы, откинувшись всем телом назад, ударить Григоренко о ствол дерева.

— Пусти! — снова попросил я.

Но Котька и слушать меня не хотел. Он висел у меня на плечах и хрипел, как волк. Я увидел, как свирепо отбивается от сыщиков наш атаман Куница. Он хваткий парень, даром что худой. Его азарт поддал и мне силы. Я рванулся к дереву, но в это время Григоренко неожиданно подставил мне подножку и я полетел вниз головой на колючий щебень.

Я не успел даже вырвать руки — их держал сзади Григоренко — и грохнулся прямо лицом и грудью на камни.

Острая боль обожгла лицо. На глаза навернулись слезы. Я больно ушиб себе о камень переносицу, даже в голове загудело, и рот сразу наполнился солоноватой кровью. А Котька Григоренко снова навалился на меня и стал заламывать мне руки.

Жгучая злоба внезапно заглушила боль, слезы, усталость.

Понатужившись, я приподнялся на одно колено и, резко мотнув головой, отбросил Котьку в сторону. Хоть Котька и спортсмен, хоть он каждую перемену кирпичи выжимает, но я тоже не из слабеньких. Не успел он протянуть ко мне руки, чтобы снова схватить меня за шею, как я, вскочив на обе ноги, потянул к себе его скользкий, выющийся гадюкой лакированный ремень.

Заодно я локтем сшиб с Котькиной головы фуражку. Она, словно обруч, покатилась к речке.

— А, ты подножку ставить?! Постой, я тебе дам,

директорский подлиза! Я тебе покажу!.. — закричал я.

Мне удалось вырвать у Котки ремень. Я сразу стал стегать Григоренко его же собственным ремнем то по спине, то по рукам. А Котка как-то особенно, по-собачьи, вывернулся и вдруг, на лету схватив мою руку, впился в нее зубами.

— Ах ты, подлюга!

Пригнувшись, я ударил Котку головой в грудь. Он потерял равновесие и полетел в речку.

Я не успел даже сообразить, как это все произошло, а уж густые брызги с шумом взлетели над речкой. Здесь, должно быть, глубоко, потому что Григоренко сразу скрылся под водой.

Мне сделалось страшно: а что, если он утонет? Но через секунду мокрая Коткина голова, как пробка, выскочила наружу. Котка махал руками, его растопыренные пальцы хватали воду, — видно, с перепугу он позабыл, как плавают.

Захлебываясь, выпучив испуганные глаза, он хриплым голосом закричал:

— Караул! Спасите!

Сыщики бросились к нему.

Куница подмигнул мне.

Воспользовавшись замешательством сыщиков, мы пустились наутек.



У ДИРЕКТОРА

Вот и верхняя площадка Турецкой лестницы. Отсюда хорошо видна башня Конецпольского и то место, с которого я только что швырнул Григоренко в воду. Пока мы с Куницей взбегали наверх, сыщики уже вытащили Котьку из речки. Вон внизу он прыгает на одной ноге, весь черный, мокрый, — видно, в ухо ему вода попала. Рядом гурьбой толпятся сыщики.

— Ну, держись, Василь! Котька тебе этого не спустит!

— Думаешь, я сильно боюсь его? Я не такой боягуз,¹ как Петька Маремуха, — у того Котька на голове ездит, и ничего. Петька ему все спускает. Ну что он мне сделает, что? Пожалуется директору, да? Пускай! Ведь он первый меня затронул! Есть след, погляди? — и я показал Юзику разбитую переносицу.

— Есть, — маленький, правда, но есть! И под губой кровь. Сотри!

— Да это из носу, я знаю! Директор спросит, я все расскажу: и как он подножку мне подставил,

¹ Трус.

и как кровь из носу пустил. Пусть только наябедничает — лихо ему будет!

И мы помчались дальше, на Колокольную улицу.

Весь урок пения мне не сиделось на парте. Я ерзал, поглядывал на дверь: мне все чудились в коридоре директорские шаги.

Всем классом мы разучивали к торжественному вечеру петлюоровский гимн.

Учительница пения, худая пани Родлевская, с буклями на висках, в длинном черном платье, то и дело грозила нам камертоном, стучала им по кафедре, и когда металлический звон проплывал по классу, Родлевская, вытянувшись на цыпочках, пищала:

— Начинайте, дети! Начинайте, дети! Ми-ми-ля-соль-фа-ми-ре-ми-фа-ре-ми-ми! Ради бога: ми-ми!

Володька Марценюк поет громко, басом, так, что даже паутина дрожит около него в углу.

Петька Маремуха тянет дискантом — тонко так, жалобно, точно плачет или милостыню просит.

Маремуха такой толстый, а вот голос у него, как у маленькой девчонки.

А я совсем не пою, только рот раскрываю, чтобы не привязалась пани Родлевская. Не до пения мне сейчас! Какой тут к чорту гимн, когда вот-вот позовут меня на головомойку к бородатому Прокоповичу.

Парта Котьки Григоренко свободна. Его в классе нет.

Еще до того, как начался урок пения, сыщики и воры сбежались обратно в гимназию, и сразу разнесся слух о том, как я выкупал Котьку Григоренко. Ребята, сбившись в кучу около полениц, перебивая один другого, на все лады толковали о нашей драке.

Наконец во дворе появился и сам Котька. Весь какой-то общипанный, жалкий, с прилипшими ко лбу волосами, он был похож на мокрую курицу.

Я в то время искал около гимназических подвалов заячью капусту, чтобы залепить ранку на переносице. Увидев Котьку — мрачного, насупленного — я на миг позабыл о вызове в директорскую. Ох, как мне было приятно, что я проучил этого задаваку, чистенького

докторского сынка! За всё я ему отомстил! И за Куницу, и за свой разбитый нос, и за наших разбойников.

Не глядя в нашу сторону, словно не замечая нас, Котька быстро прошел по черному ходу прямо к Прокоповичу и наследил по всему паркету. Тонкие, как ниточки, струйки воды, стекая с намочшего платя, протянулись вслед за Котькой до самой директорской. Казалось, кто-то пронес по коридору воду в дырявом ведре.

Как только прозвенел звонок, Володька Марценюк побежал в директорскую за классным журналом для пани Родлевской. Он видел там Котьку и, вернувшись в класс, рассказал нам:

— Прокопович завернул его в ту материю — помните, ее на флаги для вечера купили? Сидит в кресле, глаза красные, зубами стучит, а сам весь желто-голубой — прямо попугай! Увидел меня — отвернулся, разговаривать даже не стал. А Никифора директор послал домой к Котькиному отцу!

„Паршивый маменькин сынок этот Котька, — думал я. — А еще задается, что спортсмен, что сильнее его в классе нет. Взять любого из наших зареченских ребят — все до поздней осени купаются. Прыгнешь иной раз в воду, а она холодная, даже круги перед глазами идут, — и ничего.

„А этого задаваку толкнули на минуту в теплую воду, и он уже, бедняжка, продрог, раскис, закутался в коленкор, дрожит, как цуцык, — целый тарарам вокруг него. А еще атаман, скаутский начальник! У мамки бы на коленях ему сидеть, а не скаутами командовать!“

Обычно уроки пения у нас пролетали быстрее остальных. Разучили ноты, пропели несколько раз песню — и уже звонок заливается в коридоре. А в этот день время тянулось очень долго. Пани Родлевская надоела до чортиков. Она то приседала от волнения, то снова вытягивалась над кафедрой так, словно ее распинали. Худая, длинная, с круглым кадыком, выпирающим, словно галочье яйцо, из-под плиссированного воротника, она была похожа на длинноногого тощего

комара. Хлопцы говорили, что Родлевская закрашивает чернилами седые волосы: как заметит седой волос — сразу окунает палец в чернильницу и мажет, мажет седой этот волос, пока он не потемнеет. Всё может быть! Недаром она так любит вертеться перед зеркалом в учительской.

Если бы кто только знал, как надоел мне ее гимн!

Не вытерпев, я пожаловался пани Родлевской, что у меня пересохло горло и что я хочу пить. Получив разрешение выйти из класса, выскочил в коридор. Ни души. Тихонько пробрался я по пустому коридору в актовЫй зал.

В зале пахло сосновым лесом. На полу лежала длинная недоплетенная цепь из еловых веток и барвинка. Портреты Петлюры и украинских министров на стенах были убраны венками из еловых веток. Накануне летних каникул в зале должен был состояться торжественный вечер.

Через сцену я вышел на балкон.

Густые каштановые ветви шелестели возле самой чугунной решетки.

Скоро уж зацветет каштан! Скоро из зеленой листвы, как свечи на рождественской елке, подымутся и расцветут стройные, бледнорозовые, похожие на гиацинты, цветы каштанов. Загудят над ними вечером майские жуки, будет обдувать эти цветы теплый летний ветер, унося с собою приторный, нежный запах.

Славно было бы заночевать в такую ночь тут, на балконе, — разложить бы здесь складную кровать, бросить подушку под голову, завернуться в одеяло и лежать долго-долго с закрытыми глазами и, засыпая, слушать, как умолкает там, за площадью, за кафедральным собором, уставший за день город. Но тотчас же я вспомнил о длинных, мрачных коридорах гимназии, и у меня сразу пропала всякая охота ночевать здесь.

Но ничего, вот наступят каникулы — поеду в Нагоряне к своему дядьке и каждую ночь стану спать там на свежем воздухе в стоге сена. Рядом отец будет спать, а по другую сторону дядька Авксентий. Поскорее бы нас отпускали на каникулы. Вот только эта история с купанием... А, ченуха! Я сумею выпутаться, не в таких делах бывал.

Но что это?

Прямо из-за кафедрального собора на площадь выезжает пролетка. Она мчится сюда, к гимназии. Кто бы это мог ехать? Неужели отец Котьки? Не иначе, как он!

Ну да, это он. На нем вышитая украинская рубашка, загорелая его лысина блестит на солнце.

У самого крыльца гимназии Григоренко круто останавливает лошадь и, посапывая, вылезает из пролетки. Он привязывает лошадь к чугунному столбу и, вытащив из пролетки круглый черный сверток, скрывается в дверях подъезда.

Наверное он привез одежду своему Котьке. Боится, уса́тый чорт, чтобы сынок не простудился. Бросил свою больницу и прикатил сюда.

Я стоял на балконе, скрытый каштановыми листьями. Возвращаться обратно на урок теперь мне совсем не хотелось: еще, неровен час, встречу в коридоре Прокоповича, — уж лучше подожду здесь до звонка. В журнале я отмечен, а память у Родлевской плохая. Конечно, она уже позабыла, что отпустила меня из класса.

Прозвенел звонок. Зашумели в классах гимназисты. Я слышал их крики, говор, слышал, как захлопали крышки парт. Весь этот шум доносился через открытые окна сюда, ко мне на балкон, а я все стоял и обдумывал, как бы мне безопаснее прошмыгнуть в класс, чтобы не заметили меня ни директор, ни Котька. Не хотелось попадаться им на глаза. Ой, как не хотелось!

Внизу, под балконом, хлопает тяжелая дверь, и на тротуар выходят уса́тый доктор Григоренко, наш директор Прокопович и Котька. Горе-атаман уже переоделся в сухое платье, на нем тесный матросский костюмчик и шапочка с георгиевскими лентами. Должно быть его отец схватил первое, что попало́сь под руку.

Котька озирается по сторонам, глядит на окна — не следят ли за ним ребята из классов, и потом, видимо, успокоившись, поправляет на лбу матросскую бескозырку.

— Накажите, ради бога, этого выродка, Гedeон

Аполлинариевич! Глядите, он вам всех гимназистов перетопит! — донесся снизу густой бас доктора.

— И не говорите! — загудел в ответ Гедеон Аполлинариевич. — Если бы вы знали, какая морoka с этими зареченскими босяками. Ужас! Ужас! Пригнали их ко мне из высшеначального, и все вверх дном пошло, воспитатели прямо с ног сбились. Я уж в министерстве просил, нельзя ли их в коммерческое перевести...

Усатый доктор, сочувственно покачивая головой, влез в пролетку.

— Заходите к нам с супругой, Гедеон Аполлинариевич, милости просим! — приглашает он.

— Покорно благодарю, — поклонился бородатый Прокопович.

Доктор хлопнул вожжами. Рябой конь подбросил дугу и, подавшись грудью вперед, тронул с места пролетку.

Поехали.

Директор постоял немного, высморкался в беленький платочек, поправил крахмальный воротничок и ушел.

И в ту же минуту раздался звонок. Перемена кончилась.

„Выродок — это про меня!“, выбегая в коридор, подумал я.

Хорошее дело! Мне подножку подставили, я себе нос разбил, ушиб колено, и я же виноват — я выродок? Пускай вызовет и спросит, — я скажу ему, кто выродок!

В середине последнего урока в класс вошел сторож Никифор и, спросив разрешения у преподавателя, отрывистым, глухим голосом позвал меня к директору гимназии. Я не хотел подать вида, что испугался, и медленно, не торопясь, одну за другой собрал в стопку свои книжки и тетради.

В классе — тишина.

Одноклассники со всех парт глядят на меня.

Учитель природоведения Половьян, широкоскулый, веснушчатый, в желтом чесучевом кителе, вытирает запачканные мелом пальцы с таким видом, будто ему нет никакого дела до меня.

Все наши зареченские хлопцы провожают меня сочувственными взглядами.

Я вышел вслед за горбатым низеньким Никифором, как герой, высоко подняв голову, хлопая себя по ляжкам тяжелой связкой книг. Не будь здесь Половьяна, я бы покуражился, — взял бы да замяукал на прощанье. Пусть никто не думает, что я струсил.

Директора нашей гимназии вряд ли кто из учеников любил. Но особенно не любили его наши зареченские ребята.

Сутулый чернобородый Прокопович очень боялся всякой заразы. Круглый год, зимой и летом, он ходил в коричневых лайковых перчатках. Повсюду ему мерещились инфузории, бактерии, но пуще всего на свете он боялся мух. Дома у него на всех этажерках, подоконниках и даже на скамейке под яблоней были расставлены налитые сулемой стеклянные мухоловки.

Зная, чем насолить директору, Сашка Бобырь здорово наловчился ловить больших зеленых мух, которые залетали иногда к нам в класс и, стукаясь о стекла, жужжали, как шмели.

Поймает конопатый Сашка такую муху и на перемене тихонько через замочную скважину в кабинет Прокоповичу пихнет.

Муха зажужжит в директорской, а Прокопович давай скакать, как ошалелый: стулья двигает, окна открывает, горбатого Никифора на помощь зовет — муху выгонять.

А мы рады, что его, бородатого, доняли.

Я с трудом открыл дверь в директорскую. Дверь была тяжелая, обитая войлоком и зеленой клеенкой. Прокопович даже не взглянул на меня.

Он сидел в глубоком кожаном кресле за длинным столом, уткнувшись бородой в кучу бумаг и положив на край стола руку в коричневой перчатке. Я бесшумно закрыл дверь и остановился у порога.

Удивленный Степан Руданский, в белой жилетке, большеглазый, тощий, глядит на меня с большого

портрета, повешенного над головой у директора. Рядом с портретом поэта Степана Руданського, чьим именем названа наша гимназия, висят в тяжелых позолоченных рамах большие портреты украинских гетманов. Их много здесь, под высоким потолком директорского кабинета.

Гетманы сжимают в руках тяжелые золотые булавы, отделанные драгоценными камнями; пышные страусовые перья развеваются над гетманскими шапками. Один только Мазепа нарисован без булавы. С непокрытой головой, в расстегнутом камзоле, он глядит на директора печальными, пустыми глазами, и мне вдруг кажется, что это не Прокопович, не директор нашей гимназии сидит за столом, а какой-то сошедший с портрета бородатый гетман, чуть-чуть похожий на Дорошенко. Сидит злой, недовольный, словно старый грач; нахохлился над бумагами и не замечает меня.

Прокопович раскрыл тяжелую черную книгу.

Мне надоело ждать.

Я тихонько кашлянул.

— Что нужно? — глухо, скрипучим голосом спросил директор, вскидывая длинную жесткую бороду.

— Меня... позвал... Никифор, — заикаясь сказал я. От страха у меня запершило в горле.

— Фамилия?

— Василий...

— Я спрашиваю: фамилия?!

— Манджура...

— Ты толкнул в речку Григоренко?

— Это не я... Он сам... Он первый повалил меня...

Я хотел оправдаться, рассказать, как было дело, но директор перебил:

— Батько есть?

— Он в селе.

— А мать где?

— Померла...

— А с кем живешь? Кто у тебя есть?

— Тетка, Марья Афанасьевна.

— Тетка? Ну так вот, бери свои книжки и марш домой, к тетке. Можешь передать, что тебя выгнали из гимназии. Нам байстрюков и хулиганов не нужно!

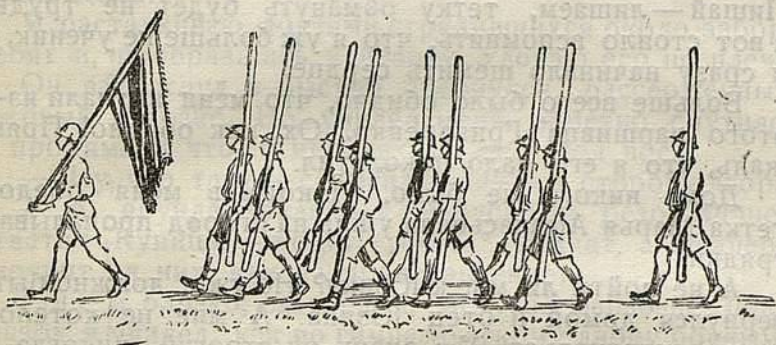
И директорская борода снова опустилась в бумаги. Огорошенный, я несколько минут молча стоял у покрытого сукном длинного стола. Сказать разве: „Я больше не буду, я нечаянно“?

Нет не поможет! Разве его, мухолова бородатого, уговоришь? Но что же теперь делать? А, все равно! Плакать не буду. Я быстро схватил дверную ручку и не заметил даже, как захлопнулась за мною тяжелая дверь директорской.

По длинному пустому коридору, по каменной лестнице я медленно спустился в вестибюль и вышел на улицу. На дворе было уже совсем жарко. Голуби глухо курлыкали на соборной колокольне. Водовозная тележка с возницей на краешке пузатой бочки протарахтела мимо меня и скрылась за кафедральным собором.

Наверху, возле учительской, отрывисто зазвенел звонок.

Сейчас выбегут сюда хлопцы. Они станут допытываться: „Ну как, здорово попало?“ А я что скажу? Что меня выгнали? Ну нет. И так тошно, а тут еще жалеть станут и, того гляди, тетке разболтают. Уж лучше дать стрекача. И, зажав подмышкой связку книг, я побежал на Заречье.



КОГДА НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР

Дома я долго не мог найти себе места.

Что же все-таки сказать Марье Афанасьевне?

Если только она узнает, что Прокопович выгнал меня из гимназии, — сразу напишет отцу в Нагоряне, и тогда мне несдобровать.

Прошлой зимой, перед самым Рождеством, мы с Куницей не пошли в училище, а забрались в лес за елками. Отец узнал про это и потом три дня бранил меня, даже, помню, Сашку Бобыря прогнал, когда тот пришел звать меня на коньках кататься.

Если он узнает, что меня выгнали из гимназии, он такое задаст, что хоть из дому беги.

Нет уж, никому ничего не буду говорить. И Марье Афанасьевне. И хлопцам. Даже Кунице не скажу. А если спросят, почему не занимаешься? Ну, тогда выдумаю что-нибудь. Скажу, у меня стригущий лишай, и доктор Бык не велел приходить в класс, чтобы не заразил других учеников: и бояться будут и поверят.

Ведь у Петьки Маремухи был стригущий лишай, и он, счастливец, сидел тогда две недели дома. Вот и расцарапаю я себе на животе стеклом ранку, скажу, что это лишай, буду мазать ее белой цинковой мазью и сидеть дома. А там и каникулы начнутся.

Решено — у меня лишай!

Но вечером в этот день я никак не мог успокоиться. Лишай — лишаем, тетку обмануть будет не трудно, а вот стоило вспомнить, что я уж больше не ученик, — и сразу начинало щемить сердце.

Больше всего было обидно, что меня выгнали из-за этого паршивца Григоренко. Ох, как обидно! Прямо жаль, что я его мало поколотил...

Дома никого не было. Покормив меня обедом, тетка Марья Афанасьевна ушла на огород пропалывать грядки.

А не пойти ли мне к Юзику? Но уже, должно быть, вернулся домой и отец Юзика. А мне не хотелось с ним встречаться. Уж очень он строгий, никогда не засмеется и не отвечает даже, когда говоришь ему: „Здравствуйте, дядя Стародомский“.

Нет, к Юзику ходить не стоит, — решил я. — А что, если пойти к гимназии и поглядеть, как занимаются скауты? Ведь меня никто не заметит, а я буду видеть всех; влезу по акации на забор и погляжу оттуда, из-за веток, как они маршируют. А может — не итти? Посидеть этот вечер дома? Нет, пойду, это все-таки, как ни говори, интересно. И, подпоясав рубашку, дожевывая на ходу неочищенный, колючий и чуть горьковатый огурец, я побежал в гимназию.

Скоро тихие сумерки опустятся на кривые улицы нашего города. Уже солнце, остывая, падает за Калиновский лес. Медленно и важно плетутся по Крутому переулку вниз, к речке, на купанье, шоколадно-черные египетские гуси нашей соседки Лебединцевой. Гусей никто не гонит, они сами, выйдя из подворотни, покачиваясь, выгнув шеи, бредут вниз.

Поднимаясь по Турецкой лестнице, я услышал, как вверху, на гимназическом дворе, дробно застучал барабан. Подойдя ближе, я увидел, что возле глазка в каменной ограде гимназического двора столпились маленькие ребята. Приподнявшись на цыпочки, они заглядывали в глубь двора.

— Смотри, смотри, как маршируют! — восхищенно закричал кто-то из них.

И вдруг среди этой детворы я заметил стриженный

затылок Куницы. Вот так здорово! А я думал — Юзик сидит дома.

Я расталкиваю локтями сгрудившихся около забора ребят и, пробравшись к Юзику, хлопаю его по плечу.

Он вздрогнул и быстро обернулся, рассерженный, готовый к драке. Но, увидев меня, заметно смутился и промямлил что-то непонятное себе под нос.

— Ну что там? — спросил я, кивая в сторону двора.

— А, ерунда такая, — с напускным безразличием ответил Куница, — ходят, „слава“ кричат, а офицеры смотрят на них, как на представление!

Совсем близко, за стеной, застучал барабан. Через глазок я увидел, как по гимназическому двору ровными рядами запылили скауты. Они в новой форме: на них коротенькие цвета „хаки“ штанишки до колен и такие же светлозеленые рубахи с отложными воротничками. К левому плечу у каждого пришит пучок разноцветных ленточек, а на рукаве, пониже локтя — желто-голубые нашивки. В руках у скаутов желтые деревянные посохи.

Скауты маршируют рядами по три человека и, подойдя к забору, сворачивают в сторону.

Я вижу их лица, серьезные надутые.

В зеленых шеренгах я то и дело узнаю знакомых ребят из соседних с нами классов. Но почему не видно наших?

Ага, вот они, самые последние!

Прямо на забор шагает звено „удавов“. Я узнал горбоносого Володьку Марценюка, конопатого Сашку Бобыря, толстенького приземистого Петьку Маремуху. Маремуха силится поспевать за другими скаутами, но ему, бедняге, это трудно удастся — ведь он коротышка!

А поодаль, важничая, в новых желтеньких ботинках шагает „утопленник“ — Котька Григоренко. Он — звеновод. На рукаве у Котьки, повыше желто-голубой нашивки, вьется червяком малиновый шнур. Это значит, что Котька не простой скаут, а начальник. Мне ненавистны и натянутая походка Котьки и его самодовольный вид. С какой стати его слушаются Володька Марценюк, Сашка Бобырь? Ведь раньше они никогда не дружили с Котькой, не раз дразнили его, а сейчас

даже смотреть противно, как они из кожи вон лезут перед этим докторским сыном...

Подлизы несчастные, — с ними даже здороваться не стоит...

На бугорке возле гимназических подвалов у развернутого скаутского знамени столпились петлюровские и польские офицеры.

Поляки — низкорослые, усатые, в блестящих крагах, в серо-голубых, похожих на австрийские, костюмах, с белыми орлами на конфедератках.

Петлюровцы одеты попроще. В коричневых и синих френчах, в широких „бриджах“ и „галифе“, они стоят у стены сарая. Когда скауты, проходя мимо них, нестройно, вразброд, кричат „слава“, — петлюровцы ловко козыряют им в ответ, поднося два пальца к лакированным козырькам фуражек, к заломленным на затылок серым щегольским папахам.

Мальчишки загладели у меня за спиной. Они совсем прижали нас с Куницей к забору, сиюсь разглядеть, что делается во дворе.

— Пойдем-ка, Юзик, лучше купаться! Я уж наглагоделся. Хватит здесь стоять, — предложил я Кунице.

Куница согласился.

По знакомой извилистой тропинке, мимо улицы Понятовского, мы направились к речке.

— Ну, что тебе директор сказал сегодня? Небось, попало здорово? — спросил Куница.

— А, пустяки — сначала ругался, а потом, когда я ему рассказал, что Котька мне подножку подставил, замолчал и отпустил домой.

— Только-то всего... А Петька Маремуха брехал, что тебя уж выгнали из гимназии. Мы ждали тебя, ждали, а ты как пошел, так и пропал. Я уж подумал, не посадил ли тебя бородатый за Котьку в карцер.

— Ну, вот еще, выдумали. Не выгнал, а грозил выгнать. А Маремуху я поколочу, если он брехать про меня будет...

Внизу уже заблестела река.

— Купаться со скалы будем?

— Давай со скалы, — согласился Юзик.

Мы повернули вниз. За рекой показалась знакомая Старая крепость.

Весь ее двор засажен фруктовыми деревьями. Возле Папской башни растут низкие ветвистые яблони. Как раз к празднику Спаса, к тому дню, когда попы у всех церковей обрызгивают „святой“ водой сложенные на платочках фрукты и соты с золотистым, душистым медом, — на этих яблонях созревают румяные спасовки.

Сорвешь такое зрелое яблоко, потрясешь над ухом, — слышно даже, как стучат внутри его черные твердые зернышки.

Спасовки, когда созреют, делаются мягкими, нежными, зубы — только тронь тонкую кожуру — сами вопьются в нежнорозовую, рассыпчатую мякоть яблока.

В крепости есть несколько шелковиц. Ягоды, которые созревают на этих деревьях, мы называем „морвой“. Они черные и похожи на шишечки ольхи. Когда черная „морва“ созреет, мы, забравшись в Папскую башню, швыряем оттуда сверху на деревья тяжелые камни. С шумом пробивая густую листву, камни летят вниз, задевают твердые ветви, ветви трясутся, а ягоды осыпаются.

Потом в густой траве, под сбитыми листьями, мы ищем мягкие, приторные, словно налитые черным соком ягоды. Мы едим их тут же, ползая на коленках под деревом, и долго после этого рты у нас бывают синие, словно мы пили фиолетовые чернила.

Вот уже несколько дней, как на лотках городского базара появились первые черешни. Желтые, совсем прозрачные, желто-розовые, похожие на райские яблочки, и черные, блестящие, красящие губы черешни доверху наполняют скрипучие лукошки торговков. Торговки звенят тарелками весов, переругиваются, отбивая друг от друга покупателей, и отвешивают ягоды в бумажные кульки.

Ох, как тяжело проходить мимо базара, когда появляются на лотках первые черешни!

Как мы завидуем тем, кто свободно, не торгуясь, покупает целый фунт черешен и, сплевывая на тротуар скользкие косточки, не торопясь проходит мимо нас!

Так, размышляя о черешнях, я спустился вслед за Юзиком к реке. Теперь крепость подымалась над

нами справа — высокая, мрачная. Я видел зыбкую ее тень, падающую на воду, и вспомнил о высоких тонкоствольных черешнях, которые росли во дворе крепости, за Папской башней. Листва у них прозрачная, редкая, а ягоды удивительно сладкие.

„Раз продают черешни на базаре, — подумал я, раздеваясь, — значит, они уже поспели и в крепости“.

Я сказал об этом Кунице.

— Ну так что ж? Давай полезли завтра!

— А когда?

— После обеда.

— Нет, вечером нельзя, — сказал я, — там же снова будут стрелять петлюровцы.

За пороховыми погребамн крепости петлюровцы устроили гарнизонное стрельбище. Ежедневно после обеда они отправляются туда на стрельбу, и до сумерек вся крепость трещит от пулеметных выстрелов. Пули с визгом летят как раз в ту стену, по которой надо взбираться до башни.

— Ну, а когда же? — хлопая себя по бедрам, спросил Куница. Он уже разделся и стоял передо мной, голый, худощавый.

— Давай утречком, перед уроками. Возьмем с собой тетради, чтобы домой за ними не бегать, я зайду за тобой, только ты, гляди, не проспй, — сказал я, совсем позабыв, что мне завтра в гимназию не надо итти.

— Я-то не просплю, — ответил Куница, — но ведь утром сторож шатается по крепости. Как мы полезем на черешню?

Да. Это верно.

Утром сторож обходит всю крепость, а вот попозже, как раз когда в гимназии начинаются уроки, сидит на скамейке у ворот. Тогда хоть ломай деревья — не услышит.

Сторож не любит, если ребята пасутся в крепостном саду. Он заботливо оберегает каждое дерево, весной обмазывает стволы известкой, окапывает вокруг деревьев землю и удобряет ее навозом. Когда фрукты созревают, он собирает их. Влезет на дерево по лестнице — даром что хромоногий — и обрывает ягоды, яблоки и даже маленькие кругленькие груши дички.

— А, есть чего бояться! Ну, увидит, закричит.

Подумаешь! Что, мы не сумеем удрать? Ведь не полезет же он за нами по крепостной стене, старый чорт. Давай пошли утром, — решил я.

— Тебе давно оспу прививали? — спросил вдруг Куница и тронул меня за руку.

— Позапрошлым летом. А что?

— Здоровые какие пятна, смотри! А у меня, видишь — небольшие, — сказал Куница и провел пальцами по коже, где виднелись чуть заметные следы прививки. У Куницы они были в самом деле маленькие, как шляпки гвоздиков. А у меня — глубокие, большие, как пятиалтынные.

— Пошли! — сказал Куница.

Мы оставляем на берегу одежду и пробираемся вверх, на скалу. Какой интерес купаться у берега, на мели, где купаются зареченские женщины? Не купанье, а стыд один! То ли дело вскарабкаться на скалу и оттуда, с вытянутыми вперед руками, броситься вниз головой в быструю воду.

Теплые, нагретые за день скалы колют нам ноги, мелкие камешки осыпаются вниз и шуршат по кустам бледнозеленой полыни.

Взобравшись на скалу, мы с Юзиком стоим на ней рядом. Далеко, за плотиной, в воду ныряют утки. Они то и дело подбрасывают кверху свои толстые гузки и сверкают на зеленоватой глади устоявшейся воды красными лапками.

— Вода сегодня, должно быть, теплая-теплая! — говорит Куница и блаженно улыбается.

По мосту гулко проехала телега.

— Давай! — закричал я и, не дожидаясь ответа, с размаху бросился в воду.

Вынырнул на середине речки, ищу Куницу. Его нет ни на скале, ни на воде. Он, чорт, хорошо ныряет. Я верчусь волчком на одном месте. Я боюсь, как бы Куница не нырнул под меня и не хватил за ногу. Это очень неприятно, когда тебя под водой хватают за ногу скользкие чьи-то руки. Куница пробкой выскочил из воды около самой плотины. Большие круги разбегаются в стороны. Как далеко он проплыл под водой! Мне столько не проплыть.

Мы ныряем вперегонки, достаем со дна кругленькие

камешки и желтую глину, взбиваем брызги, чтобы увидеть радугу. Усталые, мы переворачиваемся на спину и лежим на воде без движения. Течение медленно сносит нас вниз, к плотине. Вверху расстилается голубое, чуть порозовевшее на западе, прозрачное, без единой тучки небо.

Завтра будет замечательная погода!

Поздно вечером, когда на дворе было уже совсем темно, я ушел в крольчатник, захватив с собой копилку и спички.

При тусклом свете керосиновой коптилки я, сняв рубашку, несколько раз царапнул себя по животу толстым осколком пивной бутылки. Вскоре на коже проступили капли крови. Я поморщился от боли и вспомнил, как мне прививали оспу. Вот так же царапала меня ланцетом по руке докторша.

Я посмотрел на стекло. „Пощарапать разве еще? Довольно! — решил я. — Тетка близорукая, все равно не заметит“.

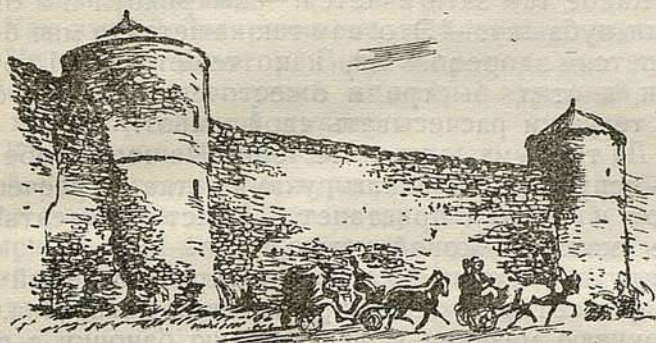
Возвратившись в хату, я жалобным голосом объявил Марье Афанасьевне:

— Тетя, я завтра в гимназию не пойду, доктор запретил — у меня стригущий лишай, и я могу заразить учеников... Поглядите-ка!

Марья Афанасьевна отставила на край плиты горячий противень с жареной, вкусно пахнущей картошкой и, шевеля губами, посмотрела на мой живот.

— Ну что ж, не ходи, только смажь быстро иодом, — сказала она и отвернулась к плите, в которой завывал огонь.

Мне стало даже обидно: старался, старался, пустил кровь, ободрал кожу, а она глянула одним глазом и отвернулась как ни в чем не бывало! Хотя бы пожалела меня, так нет — жареная картошка ей дороже.



В СТАРОЙ КРЕПОСТИ

Проснулся я рано утром. Солнце еще не поднялось над крышей сарая. Я побежал в огород. Там из самой крайней грядки я одну за другой выдернул розоватые редиски и возвратился в дом. Тихо ступая по кухонному полу, я достал с полки початый теткой каравай хлеба, отрезал себе ноздреватую горбушку и, посыпав хлеб солью, присел на табуретку. Скоро на кухонном столике остались только хлебные крошки да срезанные острым ножом мокрые от ночной росы мохнатые листья редиски. Я уже собрался уходить, как из спальни, позевывая, вышла тетка.

— Ты чего ни свет ни заря поднялся? — спросила она, глядя на меня заспанными глазами.

— А я пойду к Юзику Стародомскому задачи по арифметике решать. Мне ведь в гимназию доктор запретил ходить, вот я дома с Юзиком и позанимаюсь.

— Какие еще задачи спозаранку? Людей будить. Врешь ты, наверное... — буркнула Марья Афанасьевна и мягкими шагами подошла ко мне. — А ну, покажи лишай! — приказала она.

Я осторожно, так, будто на теле у меня была опасная рана, оголил живот и показал тетке покрасневшее место под первым ребром. Тетушка прищурила заспанные глаза и, чуть не прикоснувшись носом к моему фальшивому лишаю, сказала:

— Ну, пустяки — он проходит... Затягивается уже.

— Какое там затягивается! — выкрикнул и я быстро опустил рубашку. — Это вам так кажется, а мне больно и чешется здорово. Ой, как чешется! — И обеими руками я стал быстро и ожесточенно перед самым носом тетюшки расчесывать свой живот.

— Да ты с ума сошел! Не чеши! Не чеши, тебе говорят, — испуганно замахала руками тетка, — расчешешь, а потом и чесотка пристанет. Перестань чесать! Иди лучше смажь цинковой мазью.

Я иду в спальню. С шумом открываю левый ящик комода, в котором тетка хранит свои лекарства.

Я окунаю мизинец в фарфоровую баночку с цинковой мазью. Потом, приподняв рубашку, густо смазываю липкой белой мазью свой мнимый лишай и наклеиваю круглый кусочек пластыря. Это затем, чтобы показать Кунице. Пусть рана пострашнее выглядит, тогда он расскажет о ней в классе, и никто даже не подумает, что меня исключили из гимназии.

— Выпей молока! Тут осталось вчерашнее, кипяченое! — закричала мне из кухни Марья Афанасьевна.

Она уже загремела кастрюлями и противнями.

— Не хочу, я наелся! — ответил я тетке и выбежал на улицу.

За высокими воротами во дворе у Куницы носится их злая мохнатая собака. Не успел я еще остановиться около забора, как она, почуяв чужого, яростно залаяла и кинулась к воротам. Проклятый пес — нельзя даже войти во двор. Отойдя на середину мостовой, я протяжно закричал:

— Юзик! Юзю!

Молчание. Только, свирепея, хрипит и давится под воротами этот страшный пес.

Лишь бы на мой крик не вышел отец Куницы.

Но вот хлопают двери, и из палисадника, отогнав собаку, выбегает Юзик. Глаза у него припухли, лицо мятое, сонное, и на левой щеке краснеет отпечаток рубчика подушки.

— Ой как ты рано, Василь. У нас еще все спят, — протирая глаза, бормочет Куница.

— Какое там рано! Мельница Орловского уже давно работает.

— А где твои книжки?

— А зачем мне они?

— Как зачем? Ты разве не пойдешь в гимназию?

— Не пойду. Доктор Бык запретил мне ходить в класс. У меня стригущий лишай, я заразный, — и я гордо хлопнул себя по животу.

— Какой лишай? Что ты выдумал?

— А вот — гляди, — и я, морщась, поднял рубашку.

Мазь растаяла и расплзлась, желтенький кусочек пластыря съехал вниз и обнажил краснеющее место.

Куница чмокнул губами, покачал головой и не то от сострадания, не то от испуга промычал что-то непонятное.

— Больно? — наконец спросил он.

— Не очень. Только щиплет и чешется здорово, а чесать нельзя.

— Постой, постой, а как же ты купался вчера?

— Купался. Ну и что ж с того? Зудило только немножко, я просто тебе ничего не сказал, думал — так пройдет. А зато ночью стало невтерпеж. Побежал я с теткой к доктору Быку. Пришли, а он спит. Мы его сразу разбудили. Посмотрел он на меня, головой покачал: „Плохо, — говорит, — дело“. Мазью велел это место мазать и пластыри лепить. А в гимназию запретил ходить, пока не пройдет совсем, — не моргнув глазом, соврал я Кунице и сам удивился, как это всё гладко получается. Я уж сам начинал верить и в свой лишай и в доктора Быка.

— Бумажку тебе доктор дал для директора?

— А зачем мне бумажка, когда послезавтра каникулы начинаются?

— Так, может, ты и в крепость не полезешь?

— В крепость-то я пойду, ходить мне можно. Беги за книжками скорее.

— Ну ладно, я сейчас. — И Юзик убежал.

Солнце уже выползло из-за скал — веселое и румяное. Левая половина крепости, обращенная к городу, была освещена его яркими, утренними лучами. Мы обошли крепость с теневой стороны. Юзик спрятал

за пазуху тетради и учебники: так ему будет удобнее взбираться.

— Только вниз не смотри, а то голова закружится, — посоветовал он мне.

Вот чудак, неужели он думает, что я без него не знаю?

Цепляясь за выступы квадратных камней, плотно прижимаясь к холодной мохнатой стене, мы осторожно вскарабкались до первого карниза.

Ну, а теперь пойдет веселее! Лишь бы не закружилась голова!

Юзик — молодец. Он смело, не глядя себе под ноги, зашагал бочком по каменному карнизу.

Где-то внизу, под крепостью, белела извилистая проселочная дорога. Вот только что мы шли по ней, а отсюда, сверху, она казалась очень-очень далекой.

Гляну я на дорогу, — страх берет: высоко.

Эх, была не была!

Я повернулся к пропасти спиной и, почти прикасаясь губами к замшелой стене, затаив дыхание, пошел по карнизу вслед за Куницей.

И вот, наконец, мы добрались до Папской башни. Вслед за Куницей я пролез через разломанную решетку внутрь башни. А теперь надо пробраться на крепостной двор. Туда ведет другое, выходящее внутрь крепостного двора окно.

Куница осторожно выглянул в это окно, но вдруг испуганно шарахнулся назад и приложил к губам палец. Несколько секунд мы стоим молча.

Кого Куница там увидел? Может, сторож уже прохаживается со своей тяжелой палкой по крепостному саду? Или хлопцы с Заречья опередили нас и сбивают камнями черешни? А может, — еще хуже — петлюровцы приехали сюда учиться стрелять?

В это время я услышал чьи-то голоса. Потом заржала лошадь и заглушила всё. Опять разговаривают. Говорят громко внутри крепости. Но кто бы мог быть здесь в такую рань?

А не лучше ли, пока нас никто не заметил, выбраться из башни обратно к подножью крепости? Там уж нас никто не тронет.

Куница задумал другое.

Он лег ничком на пыльный пол башни и знаками предложил мне сделать то же самое. Медленно, ползком мы подобралась по усыпанному известкой полу к окну и, чуть-чуть приподняв головы, глянули вниз, во двор крепости.

Внизу под самой высокой черешней стоит черный фаэтон с поднятым верхом. Лакированные крылышки фаэтона блестят на солнце, и даже в тонких блестящих спицах колес играют солнечные лучи. В фаэтон запряжены две сытых карих лошади. Они встряхивают мордами и тянутся к траве. Нам слышно, как позвякивают их удила.

Поодаль, около Черной башни, к яблоне привязана запряженная в пролетку серая в пятнах лошадь. И лошадь и пролетка очень похожи на выезд доктора Григоренко. У него точно такой же масти лошадь и такая же низенькая двухместная пролетка с лакированной дугой над оглоблями.

Около фаэтона, под черешней, вполголоса беседуют три петлюровца в темнокоричневых жупанах, туго опоясанные ремнями, в желтых сапогах. Один из петлюровцев опирается на винтовку и как-то странно морщит лицо. А в стороне, в тени крепостной стены, стоят еще какие-то люди. Один из них невысокий, в зеленой неподпоясанной рубаше, в потрепанных брюках, с непокрытой, коротко, под машинку, стриженной головой. Он сразу же показался мне очень знакомым. Где вот только я его мог видеть? Он слегка сгорбился, лицо его обращено к нам — усталое, желтое, болезненное.

А напротив него стоит Марко Гржибовский. Он держит в руках какую-то бумагу; я слышу отрывистые негромкие звуки его голоса. Гржибовский читает эту бумагу босому, неподпоясанному человеку. На широком ремне у Марко болтается большой револьвер в деревянной кобуре, с другого боку висит длинная сабля. А недалеко от Гржибовского стоит, прислонившись к зеленой яблоне, лысый доктор Григоренко. „Так это его пролетка привязана около Черной башни!“

На Григоренко вышитая украинская рубаха и соломенная панاما с голубой лентой. Должно быть усатому, похожему на запорожца доктору очень скучно со всеми этими военными. Он поглядывает на ветки яблони и носком своего тупорылого австрийского ботинка лениво разрывает землю под яблоней.

Для чего только он приехал сюда с петлюровцами в такую рань?

Марко Гржибовский кончил читать.

На зеленом крепостном дворе, освещенном утренним солнцем, стало совсем тихо.

Даже петлюровцы около фаэтона притихли.

Марко медленно складывает белую бумагу вчетверо и прячет ее в верхний карман английского френча. Поправив револьвер, он кричит что-то троем петлюровцам — те вытянулись, прижали к себе винтовки, — и эхо от крика Гржибовского неожиданным далеким отголоском пробегает по длинному запущенному крепостному двору.

Гайдамаки, взяв ружья наперевес, тяжелыми, широкими шагами подходят к понурому, оборванному человеку.

Маленький криволицый гайдамак трогает его за плечо и кивает на бастионы.

Человек в зеленой рубахе устало поворачивается и шагает к зеленому бастиону. Только теперь я замечаю вырытую у самого ската бастиона, на зеленой лужайке, свежую продолговатую яму. Черный бугорок земли, как насыпь перед окопом, поднимается перед ней.

Куница больно толкает меня под бок. Чего он хочет?

Дойдя до черного бугорка, босой человек медленно, не торопясь, раздевается. Сначала он снимает верхнюю рубашку. Слабым движением руки он отбрасывает ее в сторону на зеленую траву и, полуприсев, снимает сорочку. Видно, ему тяжело стоять. Вот он разделся до пояса и стоит на траве под зеленым полукруглым бастионом, понурый, худой, с проступающими под кожей выпуклыми ребрами.

Я пристально смотрю на этого полууголого человека и все еще ничего не понимаю: зачем он стал разде-

ваться, не купаться же он собрался здесь, на крепостном дворе?

И лишь когда трое петлюровцев, прижав к плечам коричневые блестящие винтовки, застывают на месте, — я вдруг соображаю, что происходит сейчас внизу. Я понимаю, для чего сюда приехали ранним утром петлюровцы, зачем привезли они с собой этого худого, низенького, видимо больного человека.

Мне очень страшно, хочется закрыть глаза, убежать, не видеть того, что произойдет вот сейчас на наших глазах.

Но винтовки в руках гайдамаков выравниваются все прямее, трое гайдамаков стоят твердо на раздвинутых ногах; чуть подавшись вперед, они целятся, прижимаясь лицом к полированным прикладам.

Понурый человек вздрагивает, выпрямляется. На черной насыпи он сразу кажется высоким, тонким. И, подняв над головой руку, он кричит припавшим к винтовкам гайдамакам:

— Да здравствует советская Украина-а-а!

Ветер доносит к нам обрывки его хриплого, простуженного голоса.

И вот только тут я узнал этого желтого, болезненного человека.

Да ведь это его же в тот весенний слякотный вечер, когда отступали красные, привел в наш дом Давид Лейзерович! Это же его Марья Афанасьевна укладывала на кованом сундуке и поила чаем с сушеной малиной, а он, высунув из-под одеяла руку, стал показывать мне пальцами на освещенной стене разные забавные штуки. Ведь это он так страшно щелкал зубами, когда Давид толковал с моим отцом. Значит, он не ушел с красными; значит, Марья Афанасьевна обманула меня. Я вскочил, высунулсЯ в окно.

„Оставьте, пустите его, он больной, он никому ничего не сделал!“ хотел закричать я гайдамакам, но слова застряли у меня в горле, а Куница сразу же потянул меня вниз, и я грохнулся на колени.

Курносый Марко Гржибовский взмахнул саблей.

Три винтовки почти одновременно подпрыгнули в руках у гайдамаков. Отзвук ружейного залпа гулко прогремел в бастионах, в амбразурах черных пустых башен.

Потревоженные выстрелами галки взвились со своих гнезд и, каркая, закружились над крепостью. Казалось, весь город притих там, за крепостью, вслушиваясь в густое эхо выстрелов.

Человек у бастиона, как будто ему стало холодно, сжегился, прижал к груди руки, нагнулся набок и потом медленно, медленно, словно засыпая, наклонив голову, повалился на землю к вырытой у его ног черной продолговатой яме.

Тогда неторопливыми шагами, опираясь на суковатую изогнутую палку, к яме подошел доктор Григоренко. Положив на траву панаму с голубой лентой, он нагнулся и стал ощупывать белое тело упавшего. Григоренко запрокинул назад его голову, легко тронул глаза.

Потом он выпрямился, вытер руки о белый платочек и что-то тихо сказал Гржибовскому.

Марко быстро подошел к насыпи и ногой столкнул убитого в яму.

Пока гайдамаки, шелкая затворами и выбрасывая в траву стреляные гильзы, разряжали винтовки, Марко Гржибовский и усатый Григоренко вдвоем подошли к докторской пролетке.

Гржибовский влез на ее облучок, так что пролетка сразу накренилась влево, и закричал:

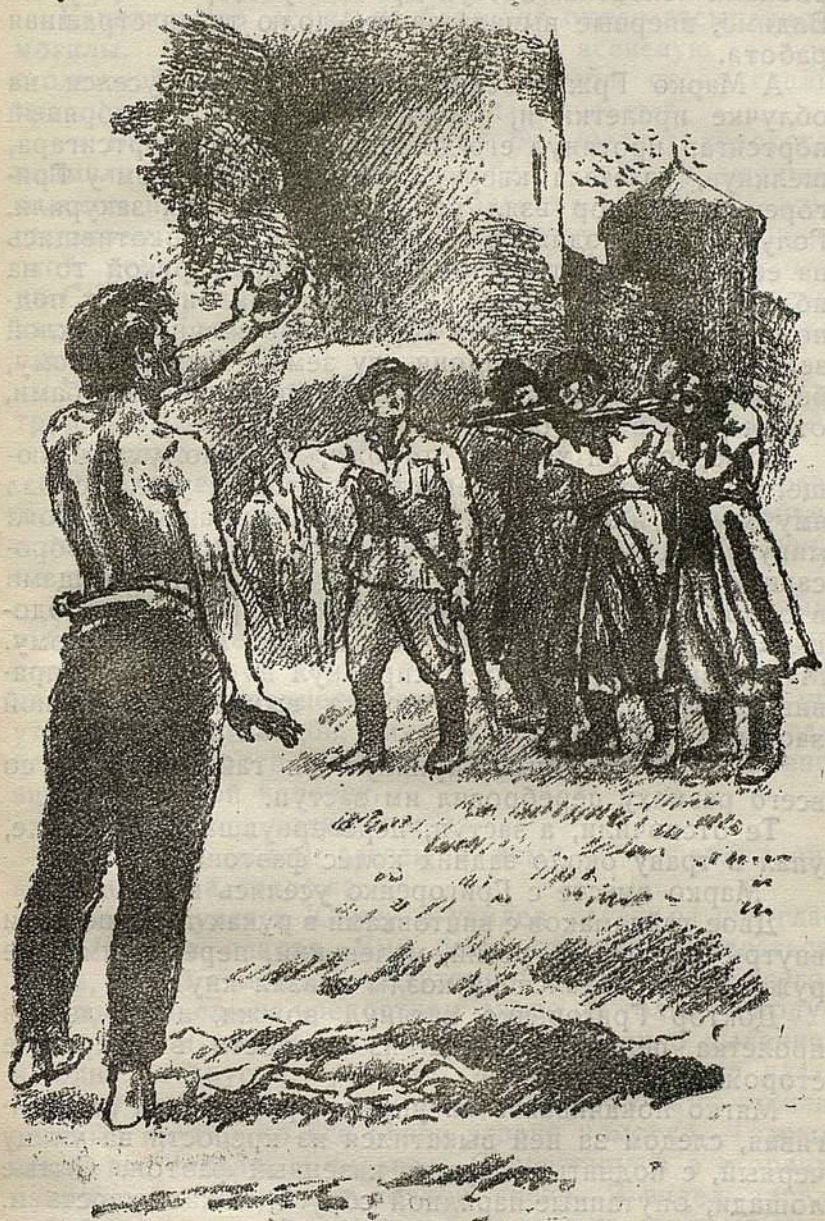
— Сторож, сторож, ходи-ка сюда!

На крик Марко пришел сторож в соломенном потрепанном капелюхе. Он шел медленно, прихрамывая, с опаской озираясь по сторонам. Подойдя к Гржибовскому, он снял капелюх и поклонился.

— Возьми-ка в экипаже заступ да быстро закопай вон ту могилу. Только как следует, хорошенько! Потом травой забросай. И никому не смей говорить о том, что видел. Понял? А не то... — И Гржибовский притронулся к револьверу. — А себе за работу, — добавил он милостиво, — вот его шмаття¹ возьми.

Сторож достал из фаэтона заступ и подошел к яме. Не глядя в могилу, он торопливо стал подбирать черную, с клочьями зеленой травы землю и неровно, быстрыми бросками засыпал ею застреленного петлю-

¹ Тряпье.



Винтовки в руках гайдамаков выравниваются все прямее...

ровцами человека. Заступ дрожал у сторожа в руках. Видимо, впервые выпала на его долю такая страшная работа.

А Марко Гржибовский, словно кучер, уселся на облучке пролетки и, вынув из кармана серебряный портсигар, протянул его доктору. Крышка портсигара, шелкнув, взлетела кверху перед самым носом у Григоренко. Доктор взял папироску. Оба они закурили. Голубой дым поднялся над пролеткой. Облокотившись на ее крыло, доктор показывал Марко рукой то на яблони, то на черешни. Потом он наклонился к подножью яблони и схватил горсть унавоженной, рыхлой земли. Он поднес на ладони эту землю Гржибовскому, бережно растер ее в руках и затем, причмокнув губами, отшвырнул в сторону.

Наверное он хвалил сторожа, хорошо ухаживающего за деревьями в крепости. А сторож уже засыпал яму землей и зеленым дерном. Раздумывая, он постоял минуту над могилой и потом быстро подобрал разбросанную на траве одежду убитого. С этими вещами в одной руке, с заступом в другой, хромя, он подошел к пролетке и снова поклонился Гржибовскому. Марко выплюнул окурок, прыгнул на траву и, поправив фуражку, взял от сторожа вымазанный глиной заступ.

— Э-гей, хлопцы! — крикнул он гайдамакам и со всего размаху перебросил им заступ.

Те отскочили, а заступ, перевернувшись в воздухе, упал в траву около задних колес фаэтона.

Марко вместе с Григоренко уселись в пролетку.

Двое гайдамаков с винтовками в руках тоже полезли внутрь фаэтона, а третий, маленький, передав им свое ружье, вскарабкался на козлы и взял кнут.

Доктор Григоренко натянул вожжи, и его легкая пролетка первой выехала из крепости в открытые сторожем ворота.

Мягко покачиваясь на упругих рессорах и подпрыгивая, следом за ней выкатился из крепости на улицу черный, с поднятым верхом казенный фаэтон. Сытые лошади, опутанные нарядной сбруей, махали хвостами.

Слышно было, как, сбегая вниз, к мосту, лошади звонко стучали копытами по голым камням мостовой.

Сторож закрыл ворота и вернулся обратно во двор.

Капелюх его лежал на бастióне около засыпанной могилы. Опираясь на суковатую ясеневую палку, с одеждой убитого подмышкой, сторож стоял среди крепостного двора угрюмый и нахмуренный.

— Васька, а не тот ли это большевик, которого поймали вчера в Старой усадьбе? — тихо, дрожащим голосом прошептал Куница, обдавая мне лицо горячим дыханием. — Я после купанья повстречал около Успенской церкви Сашку Бобыря, и он мне говорил, что из Старой усадьбы синежупанники под ружьями вели какого-то большевика. Может, это он самый? Ты не слышал об этом?

Нет, я не слышал. И если бы даже я слышал, мне бы трудно было разговаривать сейчас об этом с Куницей.

Впервые при мне убили человека.

Я видел его живым до этого всего лишь один раз. Я не знаю, кто он, как его зовут, есть ли у него семья, я ничего не знаю про него и не узнаю наверное, пока не вернется из Нагорян мой отец.

Теперь этот человек сделался для меня родным и близким. Мне даже думать было тяжело, что он не подыметсá из этой черной ямы, не зашурится, взглянув на небо, от солнечного света, не будет умываться по утрам холодной водой, никогда не улыбнется и никогда не придет в гости к моему отцу, как старýй, давно знакомый, свой человек.

Куница снова толкнул меня.

— Васька, давай слезем к нему, а? — шепнул он, кивая вниз на сторожа.

Я повернулся к Юзику и увидел слезы на его глазах. Куница плакал. Ему было страшно оставаться здесь, в этой холодной, полутемной башне, после всего, что мы увидели на крепостном дворе. И только я подумал об этом, как у меня самого перехватило дыхание, и, одна за другой, крупные слезы закапали из глаз. Я сразу закрыл лицо ладонями, перед глазами пошли зеленые круги, но все равно это не помогло, — слезы текли все сильнее и сильнее. Я повернулся в сторону и прижался лбом к холодной стене. Я видел перед собой в темноте падающего больного человека, я слышал его последний, предсмертный грозный крик.

„Душегубы проклятые! Кого вы убили? В эту минуту я поклялся, что отомщу за смерть убитого вот сейчас петлюровцами человека. Пусть попадется только мне у нас ночью в Крутом переулке курносый Марко Гржибовский! Я сразу проломлю ему голову камнем.

И от боли, от досады, что мы не смогли помешать Марко Гржибовскому, когда он расстреливал нашего ночного гостя, я заревел еще сильнее.

— Не надо, Васька, ой не надо! Ну уйдем отсюда! Ну прошу тебя!.. Ну пошли вниз! — тоже всхлиывая и дергая меня за локоть, зашептал Куница.

И, не дожидаясь ответа, он высунулся из окна. Осторожно опустив ноги на крепостную стену, он смело пошел по ней, раздвигая ветви кустарника, преграждающие ему дорогу. Услышав шум, сторож поднял голову. Он увидел идущего по стене Куницу, но не закричал, как обычно, и даже не двинулся с места.

Я утер кулаком слезы и спустился во двор вслед за Куницей. Спрыгнув со стены, мы оба, медленно ступая по мягкой траве, подошли к сторожу.

— Дядя, они убили того человека, что в Старой усадьбе вчера поймали?.. Да, дядя? — спросил у сторожа Куница, словно сторож был его старый, хороший знакомый.

— Почем я знаю, — глухо, настороженно ответил сторож. Он недоверчиво разглядывал нас.

Лицо у сторожа вблизи было совсем не такое уж страшное, каким казалось издали. Он, наверное, давно не стригся, голова у него была заросшая, волосы падали на загорелые уши.

— А вы чьи будете?

Мы назвались.

Оказывается, сторож знает отца Юзика. Про моего он только слышал.

— Хиба ж вы бачили? — помолчав с минуту сказал по-украински сторож.

— Мы в башне сидели! — объяснил я.

— Мабуть, того самого, — теперь уже более твердо сказал сторож. — Я вперед не зрозумив, чого вони сюда идуть, видчинив ворота; спрашую: цилый день стреляты будете? Глянув на мене отой офицер и тильки посмихнувся... А потим ось, дали мени шмаття за те,

шо могилку засыпав. А навищо воно мени — тильки грих на душу взяв, — и сторож поглядел на вещи убитого.

Мы разглядывали зеленую, выпачканную известкой рубашку и рваную сорочку.

— Хлопчики, — вдруг ласково обратился к нам сторож, — колы треба буде, вы скажете, шо я до цього не причастный? Я в музейови служу, оцю фортецю охороняю, музей мени гроши платять — я не наймався сюды могилы копаты, душегубам помогаты. Скажете, хлопчики?

— Добре, мы скажем! — почти в один голос ответили мы с Куницей.

— Дядько, а вы нас пустите в крепость, мы цветов наломаем и принесем сюда ему на могилу, — сказал Куница.

Сторож согласился.

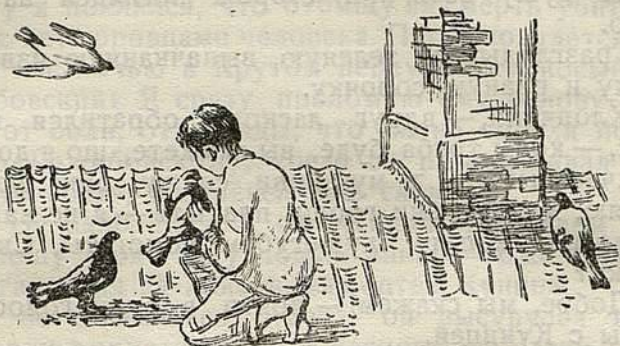
— Только вечером приходите, — попросил он, — а то днем они тут упражняются — вон всю стену пулями поколупали...

Мы расстались со сторожем, как свои люди.

Старик сам открыл нам ворота.

Мимо подземного хода, через Крепостной мост мы пошли в город. Куница отправился в гимназию, где давно уж начался первый урок, а я — домой.

Расходясь, мы условились, что сегодня вечером Куница зайдет ко мне и мы вместе пойдем рвать цветы для могилы этого убитого в крепости человека.



МАРЕМУХУ ВЫСЕКЛИ

Куница пришел ко мне засветло. Произительным свистом он вызвал меня на улицу. Я услышал свист и подбежал к дощатому забору.

— Заходи! — крикнул я Кунице. — Я сейчас, только накормлю крольчиху, а потом давай к Петьке сходим за сиренью.

— Его дома нету, — хмуро сказал Куница, проходя со мной к раскрытым дверцам крольчатника.

— А ты что — заходил к нему?

— Я и так знаю. Он прямо с уроков со своими голоногими в театр пошел.

— В театр? В самом деле?

— Конечно, в театр. Кончились уроки — их всех выстроили на площади и повели. С музыкой. А впереди Марко Гржибовский! — сердито объяснил Куница.

Войдя в крольчатник, Куница сразу наклонился ко мне и спросил:

— Васька, а зачем ты мне набрежал?

— Что? Набрехал? Когда?

— Будто не знаешь. Да вчера, когда купаться шли... И сегодня утром — про лишай. Ведь бородатый тебя выгнал, да?

— Откуда выгнал? Кто это выдумал? Никто меня не выгонял.

— Как никто? А приказ для чего вывесили?

— Какой приказ?

— А вот такой — на стенке около учительской висит. Приди почитай сам, если не веришь. Сегодня в большую перемену вывесили. А в приказе написано, что тебя за босяцство выгнали из гимназии. Сам Проккопович подписал... Сегодня Сашка Бобырь был дежурным, он видал, как твою фамилию из классного журнала зелеными чернилами вымарали. Вот. А ты думал — я не узнаю, да? Набрехал-набрехал: „Меня доктор Бык освободил... Ночью с теткой побежали... Вот лишай, посмотри“. А сам не знаешь, что доктор Бык уж вторую неделю арестованный сидит за то, что не дал гайдамакам обыск сделать в своей квартире. Мне сегодня ребята рассказали. А я вчера уши развесил, поверил тебе.

Куница замолчал и только постукивал пальцами по кроличьей клетке. Потом обиженным голосом Куница сказал:

— Сегодня утром Котька стал хвастаться, что тебя прогнали, а я ему говорю: „Ничего не выгнали, он больной, а вот выздоровеет и второй раз тебя в речку кинет“. А Котька как засмеется. „Больной, — закричал, — больной! Да он плачет-сидит, что из гимназии вытурили“. Тут, как назло, и приказ вывесили. И кого ты боялся — меня боялся? И не стыдно тебе?

Мне в самом деле было стыдно. Я глупо сделал, что набрехал Юзику про лишай и про директора. Кого-кого, а Куницы я мог бы не бояться. Это не Петька Маремуха. Тот трус и слова никогда не сдержит. А Куница — парень надежный, ему любой секрет, любую тайну доверить можно.

Прошлой осенью я сорвал в училище водосточную трубу: хотел по ней влезть на крышу, а труба была ржавая, взяла да упала. Куница стоял рядом. Потом долго, добрый месяц, заведующий во всех классах допытывался: „Кто сорвал трубу? Кто сорвал трубу?“ И учителя тоже спрашивали, но Куница не выдал меня, и с той поры еще крепче стала наша дружба. Зря я не рассказал ему все, как было. А вот сейчас надо выпутываться.

— Знаешь, Юзик, я думал — все так обойдется. Попугал Прокопович меня, а потом простит...

— Обойдется! Жди! — ухмыльнулся Куница. — Вот, если придут красные, тогда и простят тебя, а этот бородатый ни за что не простит. Ты еще не знаешь, какой он вредный. И зачем только нас перевели в эту гимназию? Кому это нужно?

— Кому? Петлюре. Он хочет, чтобы мы отсюда в юнацкие школы пошли. А дудки! Раз так — никуда я больше не пойду. Ни в скауты, никуда!

В это время крольчиха застучала задними лапами по днищу клетки.

— Ой, какой у тебя кролик здоровый! Самица, да? — вдруг изумился Юзик, заметив в глубине клетки красные глаза моей крольчихи.

— Ага, самица, ангорская. Погляди, какая она жирная, полпуда будет... Трус, трус, трус!.. Иди сюда... Ну, иди!.. — позвал я крольчиху, просовывая ей сквозь проволоку желтую морковку. Я был рад, что Куница так быстро перестал сердиться.

Тучная крольчиха выпрыгнула из глубины клетки и ткнулась в мою ладонь горячей мордой. Острыми зубами она схватила морковку и стала быстро грызть ее. На груди у крольчихи от волнения вздымалась белая пушистая шерсть, а на морде шевелились длинные, тонкие усы.

— Васька, а Васька! А какого голубя я сегодня поймал! — похвастался Куница. — Крылышки сиреневые, дзюбик маленький, как у чижа, лапки в перьях, со шпорами, а на грудке бант завивается. Ты же знаешь, банточные голуби очень породистые. Возьму за него на базаре карбованцев сто, не меньше. Боязно только продавать. А вдруг хозяин отыщется? И ты, гляди, молчи...

— Он сам к тебе сел или ты подманил?

— То-то и штука, что подманил. Я вернулся из гимназии, набрал в карман кукурузы и полез на крышу. Голуби ведь у меня сейчас не в будке, где весной были, — будку тато секачом порубал, — а на чердаке того сарая, где он собак держит. Ну вот. Вылез я на крышу, отворил решетку, бросил им кукурузы, — вдруг, гляжу, над Старой усадьбой голубь кружит.

И низко. Эх, думаю, попытаю счастья. А дома-то никого нет: тато у Кумченко собак сдает, а мама на базаре. Похватал я голубей да вверх — одного, другого. Аж перья полетели. Свистеть стал. А мой павияк, тот белый, трубач, и без свиста — как махнул, как рванул, и сразу над колокольной закружился. Ну, банточ-ный к нему и пристал. Я быстренько с крыши на землю, сел в бурьяне под курятником, веревочка в руках, и жду. Полетали они немного и сели разом — мой и чужой. Мои-то голодные, с утра ничего не ели, ну и поскакали в голубятник, а чужой за ними. Я решетку хлоп — и готово! Банточный с ними сидит и уже около белой самицы вертится. Я и думаю теперь: а что, если ему крылья перекрасить? Из сиреневых в бордовые? Тогда и на базар можно...

— А зачем тебе его продавать? Оставь на развод.

— Да, хорошее дело — оставь. Я выпущу, а он улетит.

— Чудак, не знаешь, что сделать? Перевяжи крыло шнурком, и не улетит.

— Я бы перевязал и приручил, да тато может заметить. А он мне строго-настрого наказал больше двух пар не держать. Я и боюсь: увидит пятого и всех продаст.

— А что? Жалко ему?

— А кормить чем? Кукуруза-то сейчас дорогая, и достать ее негде. Мужики на ярмарку теперь не ездят. Боятся, что гайдамаки все у них поберут.

— У вас своей разве нет?

— Да есть, но мало — не уродилась. Нам самим на мамалыгу нехватит.

За домом хлопнула калитка.

К нам кто-то шел. Должно быть к тетке. А она спит.

Я оставил Куницу в крольчатнике, а сам побежал навстречу.

У крыльца я наткнулся на Петьку Маремуху.

Он был весь красный, взъерошенный и тяжело дышал. Видно, он бежал сюда и оттого запыхался.

— Ты дома? — радостно сказал Петька.

— Дома, — ответил я неприветливо. — А что, вы-става разве кончилась?

Мне было завидно, что Петька ходил в театр, смотрел представление.

— А ты... ты откуда знаешь, что я был на выставке?

— Подумаешь — секрет. Кто не знает? Все знают. Мне Куница сказал...

— Куница?.. Он что — был в театре?

— Ну, в гимназии видел, как вас выводили. Чего ты пристал? Пойдем в сарай.

Юзик тоже встретил Маремуху неласково. Петька чувствовал себя неловко, он понимал, что мы не особенно расположены к нему. Он потоптался немного на одном месте, а потом, увидев крольчиху, суетливо, скороговоркой спросил:

— Ой, какой кролы! Где ты такого достал, Васька? Весной у вас другой по двору бегал. Правда? Этот красивее, целый баран, а не кролы!

Но напрасно вытанцовывал Петька перед моей крольчихой. Зря причмокивал он губами от восторга. Я и Куница прекрасно понимали, что Петька просто хотел подмазаться к нам. Все было напрасно. Одно из двух: либо с нами дружить, либо со скаутами голоногими в театр ходить. И мы делали вид, что не замечаем Маремуху.

Помолчав немного, Маремуха снова заговорил:

— Я не доглядел все представление. Еще одно действие осталось...

— Что ж так? Сидел бы уж там до конца. Зачем сюда притащился? — не вытерпел Куница и сурово оборвал Петьку: — Какие мы тебе товарищи? Панычи, скауты — твои товарищи. Котька Григоренко — твой товарищ. Иди к нему в гости. — И Юзик со злостью сунул в нос крольчихе морковную ботву.

— Ну их! Пусть они скажутся... Больше я к ним не пойду... — вздрогнул Маремуха и вдруг, покраснев, сразу выпалил: — Они меня выпороли!

Мы насторожились.

Я с недоверием поглядел на взъерошенные волосы Петьки. Толстенький, взволнованный, в зеленом скаутском костюмчике, он стоял перед нами и виновато заглядывал Юзику в глаза.

Кто бы мог его выпороть, такого подлизу? Не могло этого быть. И я, решив, что Петька врет, прямо сказал:



— Они выпороли меня! — выпалил Маремуха.

— Ты брешешь!

— Ей-богу! Пусть меня гром побьет! Слушайте, я вам расскажу все по порядку. Только никому не говорите, — взмолился Петька, — ладно? Повели нас в театр. Повели. Под барабан. Возле министерства Гржибовский нас остановил. Оттуда с балкона выглянул какой-то человек; хлопцы говорили, что то был сам Петлюра. А может — кто другой, я не знаю. Он крикнул нам с балкона что-то, а мы ему снизу „слава“ закричали, потом пропели „Ще не вмерла Украина“, и пошли. Возле театра мы сложили в козлы посохи и оставили часовых. Мне еще в классе Котька дал билет на галерку. Я просил обменять, он не обменял. Ну, думаю, все равно буду сидеть в партере. Протискался вместе с ребятами в коридор и проскочил без билета в партер. Там у входа раздавали подарки, я тоже получил...

— Хорошие подарки? — перебил Маремуху Куница...

— А, дрибныци... ¹ Два бутерброда с сальтисоном, пирожок с капустой да три яблока. Ну, я тут же обменял у Сашки Бобыря одно яблоко на два цукерка, и стали мы с ним ходить вместе. А народу было сегодня в театре — пропасть! Наши украинские скауты, польские скауты и потом привели еще польских солдат. После второго звонка Бобырь ушел в залу, а я гуляю один. Нехай, думаю, все усядутся, а я, как только свет в зале загасят, возьму и тоже сяду где-нибудь с краешка. Вот... Хожу по коридору и думаю: да тушите, черти, свет поскорее! А в это время кто-то — хлоп меня по плечу. Я сначала думал — Сашка, хотел было ему сдачи дать. Оглянулся, смотрю — нет, это Жорж Гальчевский, — знаете, из седьмого класса скаут?

— Какой Жорж? Тот, что с Крепостного моста в водопад прыгал? — спросил Юзик.

— Да нет. То Мацист прыгал. Того Жоржа Мацистом зовут. Да ты же должен знать Гальчевского: он худой такой, костлявый, высокий, все с кастетом ходит. Его отец — поп, служит в Преображенской церкви, за колонией... Ну вот, Гальчевский поймал

¹ Мелочь.

меня за плечо и говорит; „А ты почему тут вертишься? Иди в залу!“ Надо было итти, правда? А я, дурак, не пошел. Побоялся. „Там душно очень,— говорю,— пока не началось, я здесь воздухом подышу“. — „А билет есть? Покажи-ка билет!“ — вдруг надумал Жорж. Стал я искать билет, ищу, ищу, то в один карман полезу, то за пазуху, то в другой карман, а сам все думаю: лишь бы свет поскорее потушили, он тогда отвяжется и побежит в залу на свое место. Но не тут-то было. Он стоял, ждал, а потом вдруг как толкнет меня сзади коленкой, да как закричит: „Пошел вон отсюда, сопляк! Пока я здесь дежурным, ни один заяц у меня не пройдет!“ Я споткнулся, чуть было не полетел, яблоки мои покатались к вешалке, я их догоняю, а Гальчевский уже кричит контролеру: „Не пускайте этого зайца обратно, чтоб духу его больше не было!“ Я похватал яблоки и — бегом на галерку. Там у меня взяли билет и пропустили, слова не сказали. Вбегаю — уже темно. Нашупал свободное место на боковой скамейке у самого барьера, сел и грызу яблоко. Съел одно, взял другое, только надкусил, вижу — занавес подымается. Ну, думаю, доем потом. Только было хотел положить яблоко на барьер, а оно сорвалось, да как полетит вниз... Ох, я и напугался! Уронил и даже глянуть вниз боюсь — страшно. Слышу только — выругался кто-то в партере и стулом закрипел.

„Потом тихо стало. А выставка идет, интересная такая, с запорожцами, с танцами и с музыкой. „Прощо тирса шелестила“ — так называется. Я засмотрелся и позабыл про яблоко.

„Кончилось первое действие, зажгли свет, я сижу, не встаю, чтобы место не заняли, а сам высматриваю, где знакомые хлопцы сидят. Вдруг кто-то опять — цап меня за плечо. Обернулся я, гляжу — снова тот Жорж Гальчевский. „Ты яблоко на голову офицеру бросил?“ спрашивает. „Какому офицеру?“ — „А вот погляди!“ и схватил меня за шиворот да перегнул головой вниз через барьер так, что я чуть было не упал вниз. А оттуда, снизу, из партера, польский офицер рукою Жоржу машет и мне грозит. Тогда Гальчевский как закричит: „Пойдем к кошевому!“ и повел

меня за кулисы. Там артисты бегают, пыльно, досок много навалено, темно, я чуть-чуть не упал — зацепился за какую-то веревку, а Гальчевский всё меня толкает вперед.

„Хотел было я удрать — не вышло. Привел меня Жорж к самому Гржибовскому, а тот сегодня на сцене запорожца играл, весь вымазанный такой, и брови и нос — всё в краске. Нос у него большой — нашлепку наклеил. Гальчевский козырнул ему и всё про то яблоко рассказал, а меня он даже и не спросил, — нарочно я или нечаянно. Тогда Марко Гржибовский сказал Гальчевскому: „Дайте ему пять шомполов“, и на меня головой кивнул. А Гальчевский мне сразу ка-а-к даст! Ногой!“

— И шомполами били? — все еще не веря Петьке, спросил я.

— Нет, не шомполами, а такой палочкой с хлыстиком.

— Где? Там же, за кулисами? — поинтересовался Куница.

— Ну вот еще... за кулисами... Просто вывели туда, за театр, знаешь, где помойная яма, сняли рубашку и пять раз ударили. Вот поглядите, еще знаки есть! — И Маремуха, задрав рубашку, показал нам свою спину. На его гладкой спине краснело пять неровных вздувшихся полос. Они легли почти рядышком, одна возле другой.

— А кто бил? — спросил я.

— Кто, известно — Гальчевский. Марко ему приказал. Гальчевский бил, а два скаута — я их совсем не знаю — держали. Один за руки, другой за голову. Потом я вырвался и побежал сюда, к вам... Ничего, он меня будет помнить... Я ему морду побью... Я не испугался его кастета...

— Кому морду побьешь? — спросил Куница.

— Гальчевскому... И кошевому... Марко... всем, всем побью... Ночью подслежу — и буду бить...

— Да Гальчевский же тебя выпорот, как цуцыка. Выискался тоже вояка! А у кошевого револьвер есть, он в тебя из револьвера пальнет. А потом, они ж твои начальники, зачем же их бить, — подтрунивая над Маремухой, сказал Куница.

— Я их не слушаюсь больше. Я плевал на таких начальников. Кто им дал право меня пороть? Я разве виноват, что яблоко само упало? Больше я к ним не пойду. Вот отнесу только костюм, посох, галстук, пусть подавятся своей формой.

— Подавятся... Подавятся... Ишь, как ты запел. А помнишь, еще позавчера задавался как? „Завтраки даром... Форма даром... Офицерам козырять буду... Петлюра футбол подарил... В театр поведут... В каникулы на маевку пойдем...“ Пойдешь? Вкусные завтраки? — всё еще продолжал издеваться над бедным Маремухой Куница.

Ох, и ехидный же он, когда разозлится!

— Не пойду. Сказал — не пойду, значит не пойду! — упрямо мотнул головой Петька.

— Да оставь ты его, Юзик! — заступился я за Маремуху и сказал: — Эх, был бы ты, Петька, надежным парнем, кто знает, может мы и приняли бы тебя в нашу компанию, дружить стали. А вот не верю я тебе. Такому, как ты, даже ничего сказать нельзя. Сегодня ты с нами, а завтра к Котьке побежишь.

— Пусть меня гром убьет — не побегу! Я сердит на него, ничего вы не знаете.

— Врешь, побежишь. Придешь в класс и снова ластиться к нему будешь! — отрезал Петьке Куница.

— Когда я ластился? Когда? Я виноват, что Котька давал мне бумагу, да? Он сам давал, а тебе завидно, — засуетился Маремуха и от волнения просунул в клетку пальцы. Крольчиха сразу подскочила и стала обнюхивать их, думая, что это морковка.

— А шапка рыжая у тебя чья? Не Котькина разве? — строго напомнил Куница.

— Ну, это когда было... — вконец смутился Маремуха. — Мы первый год тогда жили в Старой усадьбе, моя мама понесла Котькиному отцу деньги за аренду, а Котькина мама подарила ей ту шапку. У меня ведь зимней не было. Я виноват?

— Твоя мама... Котькина мама... А вот ты Котькин поддыхач, это мы все знаем. А ну, поклянись, что больше не будешь с ним дружить, поклянись, что не пойдешь к скаутам, а мы тогда посмотрим, взять или

не взять тебя в наше товариство, — милостиво потребовал Куница.

— У вас товариство есть? Да? — заерзал около клетки Маремуха. И вдруг неожиданно для нас обоих он сорвал с плеча пучок разноцветных ленточек и злобно швырнул его на землю. Ногтями он содрал с рукава скаутской гимнастерки желто-голубую нашивочку и тоже бросил ее под ноги.

Он немного подумал, поглядел на землю и затем, как козел, сразу прыгнул обеими ногами на эти скаутские украшения и стал топтать их так, словно под ним были не ленты и нашивка, а настоящий, живой тарантул.

Маремуха подпрыгивал, сопел от волнения и, утомившись, сказал торжественно:

— Вот!

Мы молчали.

Чтобы окончательно доказать нам, что ему не жаль расставаться со своими голоногими скаутами, Петька топнул ногой еще раз и вдруг размашисто перекрестил свой толстый живот.

— Вот крест святой — не буду дружить с Григоренко! Нужен он мне, подумаешь!

— А если ты с ним и в самом деле дружить не будешь, — сказал я, растроганный клятвой Петьки и тем, что он растоптал скаутские цапки, то мы возьмем тебя в Нагоряне. У меня там дядька, а у дядьки отец гостит. Мы сами без скаутов пойдем туда. Рыбу половим — там рыбы ой как много. И я вам Лисьи пещеры покажу.

— Ну, конечно, хочу! — пуще прежнего засуетился Петька. — А я сетку возьму и удочку ту длинную с бамбуковым удищем. Сеткой за один раз можно много рыбы наловить! А червяков, может, здесь накопаям? У нас в Старой усадьбе под камнями их много, жирные, длинные, — бери, сколько хочешь.

— Только помни, Петька: если сболтнешь тетке, что меня выгнали из гимназии, — несдобровать тебе, смотри! Сброшу со скалы! И Куница поможет!

— Я сам тебя сброшу, задавака! — ответил, повелевая, Петька и уселся на клетку.

И тут я сразу простил ему всё — и то, что он подмазывался к Григоренко, и то, что был скаутом. „Он

вовсе не такой уж плохой парень, Петька", подумал я и сказал:

— Слушай, Петро, мы сейчас собираемся в одно место,— и я рассказал обо всем Петьке.

— Зеленая рубашка? Худой такой? Рваные штаны? Да что ты говоришь! Его расстреляли? Не может быть!

Петька мигом прыгнул с клетки на землю. Клетка зашаталась и чуть не упала. Петька побледнел и смотрел на нас широко открытыми, испуганными глазами.

— Нет, в самом деле? — спросил он.

— Убили, зарыли и следа не оставили! Вот что твой гайдамаки делают! Их всех надо покидать в водопад с Крепостного моста, а Петлюру первым, и мотузок с камнем на шею привязать, чтоб не выплыл! — глухо сказал Куница.

— Постой, а ты откуда знаешь, что он в зеленой рубашке? Ты что — его видел? — спросил я у Петьки.

— Да он... я... я видел, как его вели... мимо нас... — пробормотал Петька.

— Значит, тот самый! — задумчиво сказал Куница. — Его у вас в Старой усадьбе поймали. Над скалой. Вчера вечером. И Сашка Бобырь тоже видел.

— Мы хотим сейчас могилу убрать. Пойдем с нами, Петька? А у тебя сирени наломаем, — предложил я.

— Я пойду... А не поздно только? Может, завтра утречком?

— Утречком нельзя. Надо сейчас. Пошли! — твердо приказал Юзик и вышел первый из крольчатника.



КЛЯТВА

— Вы подождите здесь, я погляжу, кто дома, — сказал нам Маремуха, когда мы подошли к Старой усадьбе.

Мы уселись с Куницей на полусгнившее бревно.

Старая усадьба, в которой жил отец Маремухи, раскинулась у скалистого обрыва. Внизу текла речка. На другом ее берегу, тоже над обрывом, подымалась Старая крепость. Отсюда можно было хорошо разглядеть все крепостные башни и высокий мост.

Раньше, много лет назад, этой Старой усадьбой владел помещик Мясковский.

Жил он бобылем с одним только старым лакеем. Незадолго перед смертью Мясковского дом, в котором он жил, сгорел, а после его смерти Старая усадьба перешла в наследство к двоюродному брату помещика Мясковского — доктору Григоренко, отцу нашего Котьки.

Только, не очень она ему была нужна. У Григоренко на Житомирской был собственный двухэтажный дом с большим фруктовым садом. В Старую усадьбу он не переселился. Доктор только сдал в аренду Петькиному отцу — сапожнику Маремухе — единствен-

ный уцелевший от пожара флигель. Маремуха должен был оберегать от потравы фруктовые деревья и ежегодно косить для Григоренко сено. Этим сеном доктор Григоренко кормит свою серую в яблоках лошадь.

— Идите-ка сюда! — выскочив из флигеля, закричал Петька и, подбегая, объяснил: — Батьки нет дома, он пошел в лавочку за дратвой.

Мы сразу почувствовали себя свободнее и смело пошли за Петькой к растущим над скалой высоким кустам сирени.

— Ломайте побыстрее, а я тут покараулю! — сказал Маремуха, вскочив на высокий пенек.

Сирень в Старой усадьбе растет замечательная, махровая. Ее густые, бордового цвета лепестки очень сильно пахнут.

Мы с Куницей тянем к себе упругие высокие ветви и с хрустом обламываем пышные пучки сирени. Обломанные ветви отскакивают назад с шумом, задевая соседние кусты. Мы ломаем сирень торопливо и безжалостно, — будет беда, если отец Петьки застанет нас.

Но вот букеты наломаны. Мой букет тяжелый, он слегка влажен от первой вечерней росы. Чем бы его перевязать, чтобы не рассыпался? Ну, да ладно, перевяжем, вот только выйдем из Старой усадьбы.

С букетами в руках мы бредем по улице Понятовского к Крепостному мосту.

Смеркается. Первые летучие мыши неслышно скользят у нас над головами.

— Подожди-ка, поглядим, что там, — остановил нас Куница у высшеначального училища.

На дощатом заборе нашего бывшего училища наклеен свежий, еще не просохший плакат.

Бородатый свирепый старик в зипуне, в солдатской папахе с красной звездой, с винтовкой наперевес бежит с плаката нам навстречу. Нос у старика красный, лицо обросшее, страшное, глаза навывкате. Вши, заметные даже и в сумерках, густо нарисованы на рваном зипуне.

— Когда же его здесь повесили? Я бежал — еще не было, — тихо сказал Маремуха.

— И то неправда, что нарисовано! — горячо сказал Куница. — Когда были красные, у нас жили два красно-

армейца, и никаких вошей, у них я не видал. Спали с нами в одной комнате — и ничего...

Куница быстро оглянулся и, зацепив ногтями плохо приклеенный верхний уголок плаката, потянул его к себе.

Раз! два! — и не успели мы сообразить, в чем дело, и серединки плаката вместе с бородатым мужиком — как не бывало. Куница смял этот липкий, влажный от клейстера кусок бумаги, швырнул его под забор и спокойно скомандовал:

— Пошли, хлопцы!..

Мы пошли, и я позавидовал смелости Куницы. Почему я сам не догадался сорвать плакат? „Трус! — ругал я себя. — Такой же трус, как и Петька. Ведь никого не было вокруг!“

... Улица Понятовского круто повернула влево, и мы вступили на каменный Крепостной мост. Доски на мосту были теплые и шершавые. Они скрипели у нас под босыми ногами. А внизу шумела вода. Она прорывалась у самого подножия моста через пробитый в нем тоннель и слетала на скалы ослепительно белым, день и ночь шумящим водопадом.

Находились в городе смельчаки: взберутся на перила моста и оттуда сверху „солдатиком“ прыгают в кипящую под скалами воду.

Эх, и боязно, наверное, падать так, затаив дыхание, слушать, как колотится сердце, и уже на полдороге встретиться с взлетающими вверх брызгами холодной воды!

Рассказывали, что когда-то, прежде чем покинуть крепость, турки запаковали в железный сундук все свои богатства и потопили их в реке под этим бурлящим водопадом. Уж много лет лежит этот сундук на дне, и никто не может поднять его, потому что самому лучшему пловцу не достать до дна — такая страшная глубина в этом месте.

Прошли мост. Вот и крепость. Отвесные, крутые ее стены вечером кажутся еще мрачнее, таинственнее. Недаром Петька Маремуха все чаще стал озираться по сторонам.

— Я один пойду к сторожу, а то он увидит нас втроем и перепугается. Подождите здесь, — приказал Куница.



Мы шли в глубь крепостного двора.

Ждем его внизу, около подземного хода. Слышно, как стукнула дверь сторожки. Через несколько минут Куница подзывает нас к воротам крепости. Они высокие, окованные железом, настоящие крепостные ворота. Пуля, должно быть, не прошибет их.

Старый хромоногий сторож сдержал свое слово. Он со звоном отомкнул висячий замок и, сняв его с засова, открыл нам калитку. Мы с Петькой вслед за Юзиком перешагнули порог крепостных ворот.

Маремуха задел букетом засов, и большая ветка сирени упала мне под ноги.

Тихо, крадучись мы шли по мягкому подорожнику в глубь крепостного двора. Позади, как револьвер, щелкнул тяжелый замок. Это сторож, чтобы не было подозрения, снова закрыл на засов ворота.

Мы прошли мимо высоких черешен, низеньких, с подбеленными стволами яблонь, густых, ветвистых шелковиц.

— Здесь! — сказал Куница, показывая Маремухе на чуть заметный взрыхленный бугорок под самым бастионом. — Он стоял здесь над ямой, а они — напротив, и целились... А потом, когда он упал, подошел сюда доктор Григоренко и глаза ему потрогал. Мы вон из той башни всё видели...

Маремуха молча глядел на могилу. Я развязал свой букет, и свежие, пахучие веточки сирени одна за другой посыпались на взрыхленную землю.

— погоди! — отстранил мою руку Куница и неожиданно вынул из кармана смятый красный платок.

— Я китайку принес. Такой китайкой запорожцы застилали могилы своих побратимов, — сказал Куница и, подобрав рассыпанную сирень, покрыл свежую могилу этой красной материей.

Куница хорошо придумал. Я тоже знаю об этом обычае. Даже песня есть такая:

Ой, на гори вогонь горить,
А в долини козак лежить,
Порубаний, постріляний,
Китайкою покриваний...

— Петрусы! — тихо шепнул Куница Маремухе. — Иди к Черной башне, принеси оттуда гладкую плиту. Быстро!

Но Петька покосился на темные башни и затоптался на месте. Видно, ему страшновато было идти к Черной башне, через весь пустынный двор крепости.

— Я не донесу... У меня рука болит... Пусть Василь со мной пойдет, — забормотал Маремуха.

— Эх, ты... — со злостью ответил Куница. — Ну, тогда бегите вдвоем, а я здесь останусь.

Не проронив ни слова, мы подкрались к высокой Черной башне. Острая, окруженная зубчатым венчиком, ее крыша ясно выделялась в предвечернем сумраке на синеватом небе. Я подумал: „А не закрыл ли нас в крепости сторож нарочно, чтоб выдать петлюровцам?“ И мне стало жутко от одной этой мысли. Показалось, что крепостные стены зашевелились и двигаются к нам все ближе и ближе. Вот-вот они окружат нас совсем.

— Она? — дрожащим голосом спросил Петька, увидев под стеной башни прислоненную белую плиту.

— Она!..

Тяжелая! С трудом передвигая ноги, мы принесли плиту Кунице.

— Подвиньте на серединку... — сказал он. — Да нет же, не опускайте совсем... Вот так, на весу держите. — И, подсунув под плиту руки, Куница расправил красный платок. — Надо всё закрыть. Петька, подыми свой край чуть-чуть. Ладно, вот так хорошо... Опускайте!

Мы осторожно опустили каменную плиту на слегка взрыхленный могильный бугорок. Я почувствовал, как она плотно прижала покрытую красной материей мягкую землю.

— Теперь давайте цветы, — прошептал Юзик.

Развязав букеты, мы засыпали ветками сирени белую могильную плиту. Могила стала еще выше.

Темнело.

Желтый серп месяца висел над островерхой Черной башней.

Далеко, за Калиновским лесом, — должно быть в Приворотье, — протяжно пели унылую украинскую песню.

Крепость подымалась над городом, молчаливая, настороженная. Грохот тряской телеги, далекая печальная песня, тревожный лай собак на Заречье,

быстрый стук копыт бегущего по Калиновскому шляху коня — все было слышно здесь особенно громко. Глубокие окна крепостных башен и низкие бастионные входы усиливали эти звуки. Казалось, вся крепость дрожит, встревоженная ими. А там, за Крепостным мостом, притаился засыпающий город и тоже вздрагивал от каждого звука — и от ржания лошади, и от каждого выстрела, неожиданно врывающегося в эту вечернюю тишину.

В городе, наверное, уже давно зажгли огни. Но мы не видели их отсюда. Даже высненачальное училище, которое стояло почти рядом, за мостом, было скрыто от нас высокой крепостной стеной.

Со всех сторон нас окружали мохнатые башни, низенькие покатые бастионы и белые развалины пересыльной тюрьмы. Сколько видели на своем веку эти крепостные руины!

Прозрачное, звездное небо раскинулось высоко над нами. Я видел нахмуренные лица Петьки и Куницы, озаренные светом молодого месяца.

Вдруг Юзик выпрямился, поднял голову и, повернувшись к могиле, сказал:

— А теперь, хлопцы, поклянемся, что будем стоять один за одного, как брат за брата, и отомстим проклятым гайдамакам за этого человека! Давайте руки!

Молча мы протянули над могилой руки. Я цепко схватил чуть вспотевшую и вздрагивающую ладошку Маремухи, а Куница положил свою холодную ладонь поверх наших. Мы окружили могилу, как в хороводе, и большая тень от наших сомкнутых рук упала в траву бастиона далеко за могильной плитой.

— И в лиху годину будем заступаться друг за друга! Правда? Поклянись! — строго приказал Куница.

— Клянемся, что будем в лиху годину заступаться друг за друга! — дрожащей скороговоркой почти выкрикнули мы, и тотчас же быстрое эхо испуганно повторило вслед за нами торжественные слова клятвы, которую наспех придумал Куница.

Я успокоился только на обратном пути, когда мы подошли к середине Крепостного моста. Крепость оста-

лась позади. Здесь, на воле, вдали от ее башен, было совсем не страшно. Даже Петька Маремуха повеселел и на ходу постукивал кулаком по перилам Крепостного моста.

Но вот где-то за улицей Понятовского загудел автомобиль. Вслед за ним — другой. Далекий гул донесся сюда, заглушив шум водопада под Крепостным мостом.

— Тише, хлопцы! — остановил нас Куница. Мы прислушались. Автомобили гудели на горе, за Старым бульваром.

— А то не в губернаторском саду, Юзик? — тихо спросил у Куницы Петька.

— Наверное в губернаторском, — сказал Куница, и в эту же минуту в автомобильный гул ворвались какие-то посторонние, резкие звуки. Похоже — там, наверху, сразу разломали пополам несколько досок.

— Стреляют! — прошептал Куница. — То они нарочно автомобили завели, чтобы не слышно было... Автомобили гудят под стенкой, на дворе, а они в подвале людей расстреливают.

Куница говорил правду. Я тоже слышал немало разговоров об этих расстрелах. Ночью, чтобы заглушить выстрелы, гайдамаки заводят автомобили, а днем они расстреливают людей под оркестр. Почти каждый будний день на сосновых скамейках под высокой стеной губернаторского сада рассаживаются с большими сияющими трубами петлюровские музыканты. Они приносят с собой из казармы легкие деревянные попитры и раскладывают на них нотные тетрадки. Под командой низенького капельмейстера музыканты без усталости играют то быстрые польки, то громкие марши, то веселые краковяки.

А в это время за спиной у музыкантов, в низких подвалах желтого с колоннами дома, в котором при царе жил губернатор, петлюровцы-черножупанники расстреливают арестованных большевиков. Расстрелями у Петлюры командует атаман булавной сотни Драган. В его булавной сотне, охраняющей Петлюру, — рослые, в хорошо сшитых черных жупанах гайдамаки. Они часто ездят по городу на гладких, откормленных конях, вставив в седла длинные острые пики с желто-голубыми флажками.

Черножупанников в городе очень боятся: они первые начали громить евреев, когда гайдамаки вступили в город, им ничего не стоит застрелить первого попавшегося ни в чем не повинного человека. Начальник всех черножупанников — атаман Драган, галичанин. Он всегда носит серую австрийскую форму и железный крест на груди. Говорят, этот железный крест атаман Драган получил от немецкого царя Вильгельма в награду за то, что хорошо сражался на стороне немцев в германскую войну. Атаман Драган не похож на остальных петлюровских офицеров: те ходят в барашковых папах с длинными бархатными шлыками — „оселедцями“, а у Драгана на голове всегда круглая серая фуражка с длинным квадратным козырьком. Драган часто прогуливается по Житомирской улице со своим догом, огромной пегой собакой ростом с доброго теленка. Когда они вдвоем гуляют по городу, дог несет в зубах черный стэк атамана.

Наверное сейчас Драган вместе со своими черножупанниками хозяйничает там, за решетчатыми окнами глубоких подвалов губернаторского дома.

— Сколько они людей замордовали!.. — тихо сказал Куница, прислушиваясь к далекому автомобильному шуму.

Я молча прикоснулся к перилам Крепостного моста. Они были влажны от росы. Автомобили продолжали гудеть. Даже страшно было подумать, что всего в нескольких кварталах от нас, за каменной стеной губернаторского сада, один за другим падают на холодный подвальный пол застреленные черножупанниками люди.

А около остывающих трупов, весь в сером, в желтых лакированных крагах, стоит атаман Драган. Кто знает, может там и доктор Григоренко? И, может, Драган, как Марко Гржибовский, угощает усатого доктора душистыми заграничными папиросами, а тот, покурив, снова медленно ощупывает глаза и грудь у стынувших людей и, проверив, убиты ли они, вытирает чистым платочком свои розовые морщинистые пальцы...

Я невольно вспомнил своего отца, который прятался сейчас от петлюровцев там, в Нагорянах, у дядьки Авксентия.

Отец, коренастый, молчаливый, в синей сатиновой рубаше с расстегнутым воротом, вырос в памяти. Я видел его так ясно, будто он стоял рядом со мной и с Куницей и Маремухой на Крепостном мосту. Мне чудилось, что я трогаю его шершавую руку, что я заглядываю в его строгие глаза.

Как бы и его не поймали гайдамаки за то, что он не захотел печатать их петлюровские деньги. Ведь они и его могут расстрелять в губернаторском подвале, стоит только Марко Гржибовскому вспомнить, как мой отец выбросил его из мастерской Лейзеровича. От одной этой мысли я задрожал. Я очень любил своего отца, и мне еще сильнее захотелось повидать его, быть с ним вместе.

За крепостью задрезала подвода. Едут сюда. Надо уходить. Но мне не хотелось в этот вечер так рано возвращаться к себе, на Заречье.

Пойти разве к губернаторскому дому? Но как проберешься туда, если губернаторская площадь оцеплена гайдамаками? Их патрули, небось, стоят около доминиканского костела и никого не пускают на площадь.

А что если махнуть сейчас прямо отсюда на Житомирскую, к Котькиному дому, расквитаться с Котькой за то, что меня выгнали из гимназии? Он хвастает этим, подлиза, докторский сынок! Куница врать не станет. Сейчас мне никакой Прокопович не страшен, пойду отлуплю Котьку, а хлопцы мне помогут; пусть жалуется, кому хочет. И я предложил ребятам:

— Давайте, хлопцы, сейчас на Житомирскую, к Котьке. Шкоду ему сделаем...

— А какую шкоду? — деловито спросил Куница, подтягивая штаны.

— А там посмотрим. Может, Котька около дома — затащим его в кусты и отрубим банки.

— Брось... И не думай даже... — засуетился Маремуха. — Он только крикнет, и мы пропали. Ты забыл разве, что у них на квартире живут два петлюровских офицера?

— Ну, ты известный боягуз, Петька! — сказал я Маремухе. — Ну где ты видел, чтобы офицеры сейчас дома сидели? Да они с доктором, наверное, в губернаторских почвалах, а ты боишься. Давай пойдем, а, Юзик?

Куница стоял размышляя.

— Так теперь поздно, Васька, домой уже надо, — опять завертелся Маремуха.

— А ты хочешь утром? Когда всё видно? Тоже чудак! Пошли, — упрямо мотнув головой, решил Куница. — Ты что, даром клялся? Не бойся, никто нас не поймает. — И он взял Маремуху под руку.

— Хлопцы... Васька... Юзик, стой, да не тяни меня!.. — запрыгал, отбиваясь, Маремуха. — Вы ж ничего не знаете... На моего папу и так подозрение есть... Он побитый лежит.. Я вам всё расскажу... Я боялся говорить, а теперь скажу.

Куница отпустил Маремуху, и Петька с жаром выпалил:

— Тот человек, которого сегодня убили, у нас всё время прятался!

— Ты брешешь! — горячо перебил я Петьку. — Ты его и не знаешь!

— Я не знаю? Я? Вот крест святой! — И Петька перекрестился. — Я знаю. Его к нам ночью привел Давидка Лейзерович. Он просил спрятать его, пока он выдужает.¹ Оставил хлеба, денег, сахару кулек. Тато согласился. Мы его положили на печку. Мама печку занавеской закрыла, он там и лежал больной. У него лихорадка, наверное, была. Ух, страшная. Через день его мучила. К вечеру он отходил, слезал с печки, чай с нами пил, а днем так его трясло, — я думал — умирает. Мама не поспевала белье стирать. Выстирает ему рубашку, высушит, только он надеет — заколотит, затрясет его, враз рубашка мокрая от пота. Пил мало, а потел — ой как здорово! Полез я как-то раз к нему за рубашкой, а он или дремал, или что, не знаю, только я сказал: „Дядя, снимите рубашку“, а он — цап револьвер из-под подушки и в меня нацелился. Не помню даже, как я полетел оттуда. Прямо на пол. Чего ты смеешься, Васька, — ей-богу!

„Вот из-за этого револьвера его и взяли. Позавчера приехал к нам доктор Григоренко. Ходил по усадьбе, траву смотрел, выругал маму за то, что все черешни пооборваны на тех деревьях, что за флигелем, а потом

¹ Выздоровеет.

зашел в комнату воды напиться. А больной лежал на печке. Не знаю, или он кашлянул, или ногой шевельнул, а может — застонал, вдруг Григоренко поднялся из-за стола, взял свою палку, отдернул занавеску — и к папе: „Кто здесь?“ А больной поднялся, стал на колени, худой такой, зеленый, рубашка мокрая, и в доктора из нагана целит. Целит и шепчет что-то.

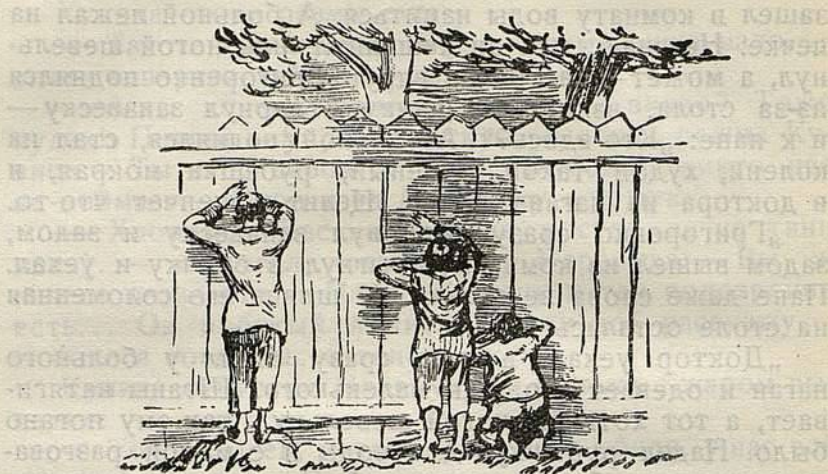
„Григоренко сразу задернул занавеску и задом, задом вышел из комнаты, прыгнул в бричку и уехал. Папе даже слова не сказал. И шляпа его соломенная на столе осталась.

„Доктор уехал, а папа сразу отнял у больного наган и одевает его. Как маленького. Штаны натягивает, а тот хоть бы ногой шевельнул, так ему погано было. Надел рубашку, дал воды и с мамой разговаривает: куда бы его отвести? Пока они говорили, вбежали в хату к нам три гайдамака, враз связали этого больного человека и к папе: „Кого ховаешь? Москаля ховаешь, пес поганый?“ И давай нагайкой хлестать. Ой, как били! То по ногам, то по груди. Тато схватил стул, чтобы защищаться, тогда его один гайдамак по руке нагайкой как ударил, аж кровь выступила. Отняли стул и — наганом, наганом! У папы вся щека сейчас синяя-синяя, на спине синяки, и рука распухла. Он лежит на кровати и ни с кем не разговаривает. А мама плачет и говорит: хорошо, что еще в тюрьму папу не забрали.

„Мама боится, чтобы Григоренко не выгнал нас из Старой усадьбы. Где мы жить тогда будем? А ты меня на Житомирскую зовешь... А вдруг меня поймают? Пропали мы тогда совсем“. — И Маремуха жалобно зашмыгал носом.

— Пойдем, Петька! Пойдем! — со злостью зашептал Хуница. — Пойдем отплатим этому чорту усатому и Котьке за всё. Давай, пошли!

— Хорошо... — вдруг решил Петька. — Хорошо... — И он затянул пояс.



ПОДЖИГАТЕЛИ

Усатый доктор Григоренко живет в нагорной части города, как раз посередине Житомирской улицы. Это самая лучшая улица города. Она сплошь усажена по обочинам высокими тополями, кленами и желтой акацией.

Дом у Григоренко большой, двухэтажный, с башенками, похожий на маленький замок. Он стоит среди деревьев, в глубине двора, огороженного с улицы прочной железной оградой на гранитном фундаменте. Ограда очень высокая и склепана из железных заостренных полос, похожих на широкие мечи. С улицы через просветы в ограде, обвитой плющом, можно увидеть, что делается во дворе у Григоренко.

Многим из нас — и мне, и Кунце, и Сашке Бобрю — очень нравится стучать на бегу по этой ограде палкой. Каждому из нас, кто попадает на Житомирскую, трудно бывает удержаться, чтобы не подразнить усатого доктора.

Ох, и здорово звенят эти мечи, если по ним провести палкой! Вся ограда дрожит, поет, а палка знай себе звонко отщелкивает всё новые и новые удары.

Повернешь с разбегу в переулок, и уж слышно — хлопнула позади дверь. Это выбежал на крыльцо рассерженный усатый доктор.

Только ему нас не догнать. Куда там!

А еще лучше — нажать беленькую кнопку электрического звонка, которая прикреплена на каменном столбике у ворот.

Над звонком прибита блестящая медная дощечка:

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

ИВАН ТАРАСОВИЧ ГРИГОРЕНКО

Прием от 8 до 10 вечера

Мы знали, что доктор любит сам выходить на встречу своим пациентам, и частенько вечерами подбирались к его калитке. Нажмем пуговку, а сами спрячемся за кусты напротив. Сядем на корточки и сидим, затаив дыхание. Открывается в докторском доме дверь, и медленно, попыхивая трубкой, выходит во двор доктор.

Подойдет к железной калитке, а на тротуаре никого и нет, — ну, он и давай ругаться:

— От бисова босота! Ну, як пиймаю якого, штани здеру!

А мы сидим тихонько под кустами, слышим его бас — и радуемся.

Двор перед докторским домом всегда чисто выметен и посыпан желтеньким песочком. Днем по двору, подбирая зерна, ходят пестрые жирные цесарки и серые породистые куры-плимутроки. Они несут большие яйца, и помногу: куда больше, чем обыкновенные курицы.

Иногда на низеньком деревянном заборчике, который отделяет григоренковский двор от его сада, прислуга выколачивает плетеными щитками тяжелые персидские ковры. Пыль столбом подымается тогда из заборчиком и летит в сад, а испуганные куры бегают по двору и кудахчут. Но это — летом. А вот ближе к зиме, когда подступают холода и приходит пора надевать зимнюю одежду, горничная доктора выколачивает из сундуков все их теплые вещи.

Тяжелые касторовые пальто усатого доктора с вы-

сокими меховыми воротниками, бархатные и каракулевые мантии его жены, сухопарой и злой пани Григоренко, маленькие суконные, подбитые ватой и отороченные белым барашком пальтишки Котьки и его серые форменные шинели, — все это развешивается в такие дни на деревянном заборчике. А шинелей у Котьки три — одна старая, осталась еще со второго класса, и две совсем новые, сшитые у лучшего портного города, Якова Гузарчика.

Вынесет прислуга всю зимнюю одежду на заборчик — и рядом пса на цепь сажает. А пес-то, пудель — кудрявый, уши висячие, — дурной такой: мы стоим бывало около забора, в щелки заглядываем, а он хоть бы твякнул.

И все пальто, шубы, шинели, будто снегом, посыпаны нафталином. Запах от этого нафталина на всю Житомирскую. Идешь по аллее Нового бульвара, и если почуял запах нафталина, так и знай: у доктора в усадьбе зиму встречают.

Я ни разу не был в доме Григоренко, но Петька Маремуха рассказывал, что, кроме мраморной лестницы на второй этаж, есть еще и вторая, витая железная лестница, — по ней можно забраться в маленькую комнату, которая устроена в куполе самой высокой угловой башенки. В этой комнатке узкие, как в крепости, окна, и летом в ней бывает очень жарко. Недаром никто там не живет, только сушат в ней Григоренки груши и яблоки из своего сада и грибы. А сад в докторской усадьбе не маленький. Начинается он сразу же за низеньким деревянным заборчиком и тянется далеко вниз, к Новому бульвару. С прогулка он тоже огорожен дощатым забором.

В саду между деревьями разбиты клумбы, на них цветет резеда, анютины глазки, желтые ноготки и душистый табак. А над клумбами на тонких шестах насажены стеклянные разноцветные шары. Что ни клумба, то другой шар. И каких только шаров нет! Темнозеленые, красные, синие, оранжевые, голубые, ярко-желтые. Все они блестят, переливаются, и когда в ясный день луч солнца, пробившись сквозь густую листву сада, упадет на такой шар, он так и запылает, заискрится, а в шарах потемнее, как в зеркале, станут

видны деревья, соседние клумбы и открытая веранда докторского дома.

Недавно, когда мы с конопатым Сашкой Бобырем заходили к Лазареву, Сашка бросил через григоренковский забор камень и угодил в самый близкий светлосиний шар. Шар лопнул, точно электрическая лампочка.

Усатый Григоренко вместе с горничной гнался за нами до самого бульвара и остановился только перед канавой, через которую ему трудно было перескочить.

Ох и кричал же он тогда! Мы были уже у самой скалы, а всё еще слышали его крики:

— Босота! Голодранцы! Воры!

Мы подошли к докторскому саду со стороны Нового бульвара; сквозь щели забора пробивался свет.

Мы подкрались к забору. Я первый прижался к щели между двумя досками и увидел освещенную веранду.

У доктора гости. И какие!

Около низенького каменного барьерчика на веранде стоял ломберный столик для карточной игры.

За столиком, друг против друга, расселись доктор, его жена, худая пани Григоренко, в темном блестящем платье, наш бородатый директор Прокопович и кто, думали бы вы, четвертый? Рыжеволосый поп Кияница! Кого-кого, но Кияницу я никогда не думал увидеть у Григоренко.

Возле застекленной двери, ведущей с веранды в дом, на высокой тумбочке горела тяжелая лампа под розовым абажуром.

Доктор с гостями играли в карты. Возле каждого — мелок: они записывали мелком, кто у кого сколько денег выиграл.

Поп Кияница сидел глубоко в кресле, протянув под столом свои длинные, обутые в скрипучие чоботы ноги. Он даже от волнения рясу расстегнул, — видно, очень старался обыграть усатого доктора.

Прокопович сгреб со стола колоду карт. Записав что-то мелком на сукне, он перетасовал карты и ловко разбросал их, одну за другой, доктору, его жене и

попу. Доктор Григоренко сложил свои карты веером. Я увидел, как сверкнуло на его толстом пальце обручальное кольцо. Он почесал картами нос, хитро подмигнул сидящему сбоку попу и гулко пробасил:

— Пики!

А где же Котька? Ага, вон он где!

Через застекленную приоткрытую дверь я увидел, как он шнырял по гостиной в своей гимназической курточке. Мне была хорошо видна обтянутая красным плюшем мебель в докторской гостиной: низенькие мягкие кресла, кушетка, маленький столик на бамбуковых ножках.

Котька взял с этажерки какую-то толстую книгу и сел на кушетку.

Прошла через гостиную горничная в плоеной наколке, неся перед собою тяжелый дымящийся самовар. Она понесла его в столовую. Скоро, наверное, туда же уйдут чаевничать доктор со своими гостями.

— Отойдем! — прошептал Куница и потянул меня за рубашку. Мы перешли на другую сторону проулочка.

Отсюда тоже можно было разглядеть, что делается на докторской веранде.

Вон, согнувшись над картами, сидит доктор, а наискосок от него трясет своей бородой Прокопович. Он опять что-то выписывает мелком на сукне. Видно, снова выиграл. Какой он сейчас тихий, ласковый, а вчера орал на меня, ничего слушать не хотел. Ясно, он будет заступаться за Котьку, раз обыгрывает его отца.

Я следил за ними и еще больше ненавидел усатого доктора и его приятелей.

Ведь этими толстыми, мясистыми руками еще сегодня утром доктор Григоренко там, в крепости, трогал стынувшие веки застреленного человека, которого он сам же выдал гайдамакам. Как он мог теперь шутить, смеяться, играть в карты?

Юзик Стародомский тоже не отрываясь глядел на веранду.

— Почекайте¹ меня тут, — вдруг, повернувшись к нам, сказал он и, мигом перепрыгнув через глиняный лазаревский заборчик, исчез в темноте. Скоро

¹ Подождите.



Доктор с гостями играли в карты.

Куница появился, держа в руках три квадратных черепицы. Я знаю откуда он их выдрал: такими красными черепицами огорожены лазаревские клумбы.

— Бубны! — донеслось с веранды.

Вот постойте, мы дадим вам сейчас бубны!

Одну черепицу Юзик протянул Маремухе.

Петька испуганно замахал руками.

— Бери, ну! — приказал Куница.

— Хлопцы, я лучше подожду вас возле бульвара. Я все равно не докину, — взмолился Маремуха.

— Ну чорт с тобой. Беги! — буркнул Куница и отобрал у Петьки черепицу.

Маремуха, шурша травой, побежал на бульвар, а мы вышли на середину проулка: отсюда сподручнее бросать.

Я видел покатуя крышу веранды и головы сидящих за ломберным столиком. Кто-то засмеялся. Должно быть топ. Скрипнул стул. Зазвенела посудой горничная.

Я слышал стук своего сердца.

Ноги у меня были легкие-легкие.

— Бросаем? — заглянул мне в глаза Куница.

Отступать некуда.

Кивнув головой, я размахнулся.

Куница бросил раньше меня. Рядом, совсем над ухом, засвистела его плитка.

Он послал вдогонку вторую — слышно было, как, пробивая листву старой яблони, все они с треском и звоном упали на веранду. Я видел — покачнулась и ярко вспыхнула лампа. Отсвет пламени длинной полосой пробежал по саду, точно погнался за кем-то. Должно быть мы разбили стекло.

Женский крик: „Пожар! Горим!“ провожает нас. А мы, не чувствуя под ногами ни круглых булыжников, ни проросшего в них влажного подорожника, задыхаясь и толкая друг друга, мчимся к заветной бульварной канаве.

Вконец перепуганный Петька Маремуха подбежал к нам уже на бульваре.

По аллее бежать опасно — можно наткнуться на петлюровский патруль.

Мы свернули влево и осторожно, вытянув, как слепые, руки, ощупывая каждое встречное дерево, стали пробираться к скале.

И только над самой скалой, возле белой тропинки, которая, извиваясь вдоль обрыва, ведет к центру города, Куница остановил нас. Мы упали на траву.

Вокруг темно, очень темно.

— Что вы наделали? Кто кричал „пожар“? — спросил у меня Маремуха.

Не отвечая, я думал: „Ну и кашу мы заварили. Теперь, если Петька выдаст нас, все пропало!“

„А вдруг, в самом деле, от разбитой лампы загорелся дом Григоренко?“

Я очень ясно представил себе, как багровые языки огня, извиваясь, лижут стены докторского дома, потихоньку поджигают деревянную крышу веранды, пробираются через оконные рамы в дом... А вокруг бегают испуганные доктор с женой, Котька, Прокопович, поп в длинной рясе и растерянно швыряют в огонь что попало: вазоны с цветами, стеклянные шары, садовые лейки... Но унять огонь нельзя. Дом пылает все больше и яростней. Трещат балки, крыша с грохотом валится вниз, и, вместо красивого, похожего на маленький замок дома, остается груда дымящихся развалин. А утром по всему городу нас, поджигателей, разыскивают вооруженные пикеты петлюровцев...

— Чепуха... Они погасили... Ничего... — точно угадывая мои мысли, прошептал Куница.

„Хорошая чепуха!“ подумал я и встал.

Отдышавшись, мы тихонько побрели в город.

Вышли на Тарнопольский спуск.

Всюду погашены огни.

Белая мостовая тянулась вверх, к центральной площади. Кондитерская Баренбойма была закрыта длинной гофрированной железной шторой.

Тихо.

Никого.

Лишь далеко за мостом стучали шаги какого-то запоздалого прохожего.

Я подумал: „А что, если подойти к городской ратуше?“ Там наверху, в будочке, день и ночь сидит дежурный. Если в городе пожар, он дает сигнал. Тогда сразу начинается суeta, под ратушей открываются широкие двери пожарной команды, на мостовую вылетают, стуча копытами, серые кони, запряженные

в платформы с насосами, красными бочками. А на линейках мчатся пожарные с блестящими топорами.

Непременно надо подойти к ратуше. Если у Григоренко загорелся дом,—дежурный обязательно заметит огонь.

Мы делаем крюк и подходим к ратуше. Двери пожарной команды закрыты.

Минут десять мы ждем у ратуши: вот-вот раздастся оттуда, сверху: „Пожар! Горит!“ Но там тихо.

Сидит в будочке над сонным городом одинокий пожарник, считает от скуки звезды и, должно быть, ничего, кроме крыш, мокрых от росы, да пустых улочек, не видит.

Большие стрелки на часах ратуши показывают половину одиннадцатого. Ой, как поздно! Марья Афанасьевна, наверно, уже легла и калитку закрыла.

Калитка в самом деле была на замке.

Во двор я попал, перебравшись через забор.

Марья Афанасьевна открыла мне дверь и сразу же, не спросив, где я был так поздно, легла снова спать.

А я долго не мог уснуть. Мне казалось — вот-вот придут за мной петлюровцы и потащат меня в тюрьму. А самое главное — ведь защищать-то меня будет никому. Вот если бы дома был отец — другое дело.

Но отец далеко. В Нагорянах. Ворочаясь с боку на бок на жестком соломенном матрасе, я подумал, что мы очень мало жили вместе с отцом как следует, тихо, мирно. У других хлопцев отец как отец, — ну, взять хоть бы Маремуху, — а у меня угрюмый, молчаливый, и всю-то почти жизнь он где-то на стороне, с чужими людьми...

Несколько лет назад, когда мы жили в другом городе, мой отец пил. И крепко.

Его не выгоняли из типографии потому, что он умел набирать по-французски, по-гречески и по-итальянски. А как раз в те годы типография получала много работы из Одессы на чужих языках.

— Без меня им не обойтись, — ухмылялся отец, рассказывая матери об этих заказах.

И на самом деле, заказы эти были доходные, хозяин на них хорошо наживался, и ему поневоле приходилось мириться с пьянством отца.

Я никогда не видел, чтобы отец пил дома.

Обычно он напивался до беспамятства где-то в городе, а потом пьяный бродил по улицам, толкая прохожих и опрокидывая уличные плевательницы.

К нам домой хозяин типографии присылал посыльного.

Не переступая порога, посыльный спрашивал:

— Манджура дома? Хозяин требуют!

Мать сразу догадывалась, в чем дело. Набросив на худые плечи единственный уцелевший от глаз отца оранжевый платок, она брала меня за руку.

Я знал, что сейчас мы пойдем искать отца. И радовался.

В пивных скверно пахло табачным дымом и квашеным ячменем, но зато было очень весело.

Облокотившись на круглые мраморные столики, сидели в дыму на кругленьких бочонках какие-то незнакомые люди и жадными, большими глотками пили покрытое белой пеной прозрачное пиво. Люди громко ругались, хлопали друг друга по плечам и швыряли на пол, прямо себе под ноги, красные, не высосанные клешни раков.

Если в пивных отца не было, мы шли в Александровский сад.

Посыльный, сутулясь, шел рядом, и мать расспрашивала его, сколько денег получил отец и скоро ли опять будут выдавать жалованье.

За воротами парка, на песчаных площадках, играли нарядные дети.

Они расхаживали возле скамеек в белых матросских костюмчиках и сандалиях. У девочек в косичках были бантики. Я знал, что этих детей приводили в парк их няньки. Они сидели тут же, на скамейках, щелкали семечки и разговаривали друг с другом.

Дети катали вокруг клумб легкие желтые обручи, прыгали со скакалками, мальчики рылись в кучах золотистого влажного песка. Возле них на песке валялись деревянные формочки — желтые, розовые, лиловые рюмочки и чашечки.

Я завидовал нарядным детям.

Мне казалось, что они каждый день едят те ромовые пирожные, что выставлены на витрине кондитерской Максимаджи.

Мы проходили мимо игравших детей в глубь парка. И здесь мать отпускала мою руку и шла одна вперед.

Она то и дело нагибалась, заглядывая под кусты.

Посыльный едва поспевал за нею.

Я бежал позади, обрывая с веток зеленые стручки акаций, которыми набивал себе полные карманы. Я делал из стручков пищики и пищал.

Отец любил спать в парке сидя. Прислонится спиной к стволу дерева и спит, наклонив голову. А его замасленная кепка надвинута на глаза, и из кармана торчит горлышко бутылки.

Отца будили, он мычал и вертел головой. Его подымали, брали под руки, мать с одной стороны, посыльный с другой, и вели через весь город в типографию.

Я шел сзади, часто останавливался у афишных будок, разглядывая картинки на афишах, подолгу стоял около витрин и вообще вел себя так, словно впереди меня шли чужие, незнакомые мне люди. Надо честно признаться, мне было стыдно за отца.

Особенно стыдно мне было, когда он вдруг начинал петь.

Мать упрашивала его помолчать — ведь за пение его мог арестовать городской, но отец не слушался и пел всё громче одну и ту же жалобную и тоскливую песню:

Мы котелки с собой возьмем,
Конвой пойдет за нами,
И мы кандалный марш споем
С горькими слезами...

Подойдя к типографии, мы усаживались на ступеньках высокого каменного крыльца.

Посыльный убегал к хозяину. А отец снова засыпал.

Выходил хозяин — худенький рыжий человек среднего роста — и останавливался на крыльце, повыше нас.

Потом он шептал что-то на ухо посыльному,

Посыльный убежал и возвращался с большим эмалированным кувшином, из которого через край на ступеньки лилась вода.

Мать стягивала с отца рубашку.

Отец сидел на ступеньках — со взъерошенными волосами, сонный, измученный, жалкий.

Он поглядывал то на мать, то на хозяина и бормотал:

— Ну, уйдите, ироды. Вот, ей-богу! Ну, поспать дайте!

Мать отходила в сторонку, а хозяин кивал посыльному. Тот поднимал кувшин, наклонял его и потихоньку лил на голову отца холодную воду.

Я видел, как струйки воды разбрызгиваются на отцовской лысине, и ежился.

„Чего ты ждешь? — шептал я про себя. — Встань, вырви из рук у посыльного кувшин, ударь его и удирай!“

Если бы отец убежал, я обязательно догнал бы его в какой-нибудь подворотне и помог бы ему одеться, чтобы он не бежал полуголый по улице.

Но отец и не думал удирать.

Он вяло растирал воду по лицу мокрой пятерней.

Вода текла по его штанам, разливалась вокруг, — каменные ступеньки лестницы чернели словно, после дождя. Кувшин, наконец, пустел.

Тогда мать брала у меня из рук рубашку и с трудом натягивала ее на влажное тело отца.

Отец сидел смирно и, видно, уже больше спать не хотел. Его уводили в типографию, а мы шли домой.

Однажды мать забрала в типографии за отца поллучку и куда-то ушла.

Отец возвратился домой сердитый. Увидев, что матери нет, он схватил с полочки будильник, завернул его в клеенку с нашего обеденного стола, прихватил еще с комода кружевную скатерть и убежал из дому, оставив меня в комнате одного.

Мать вернулась к вечеру. Она связала в узел свои платья, мое белье и отвела меня к соседке.

— Поберегите моего сына и вещи, Анастасия Львовна, пока я не вернусь, — сказала мать, отдавая соседке узел и деньги. — Я поеду в Одессу к сестре.

разузнаю, нельзя ли будет переехать туда. В Одессе, говорят, есть доктор, который лечит людей от водки. Может, он вылечит и моего мужа, — житья с ним нет, и ребенку ходить не в чем...

Она попрощалась с Анастасией Львовной, поцеловала меня и вышла из комнаты.

А через два дня мы узнали, что пароход „Меркурий“, на котором мать моя поехала в Одессу, возле Очакова наскочил на немецкую мину.

До поздней ночи кричали на Суворовской газетчики:

— Гибель „Меркурия“! Гибель „Меркурия“! Немецкие мины в Черном море!

Отец ходил на почту, посылал телеграммы то в Одессу, то в Очаков. Он все надеялся, что мать спаслась и не потонула вместе с другими.

Я долго не понимал, что случилось. Как и отец, в первые дни я был уверен, что мать жива, скоро вернется и мы поедem в Одессу, где живет доктор, который лечит людей от водки.

Недели через две после гибели „Меркурия“ я спросил Анастасию Львовну:

— И капитан потонул?

— И капитан, — ответила она мне жалобным голосом, и я вдруг удивительно ясно представил себе, как посреди моря одиноко плавает белая фуражка-капитанка с черным околышем и золотым галуном, а сам капитан, пуская бульки, медленно идет ко дну.

После смерти матери отец сделался хмур и неразговорчив.

Он бросил пить водку, приходил с работы прямо домой и всё молчал.

Коренастый, белолобый, в длинной сатиновой рубашке, подпоясанный сыромятным ремешком, он всё ходил молча от комода к подоконнику, задевая ногами стулья.

Я сидел в самом углу на топчане и следил оттуда за его широкими, злыми шагами, видел его сгорбленную спину, слышал гулкий стук его шагов.

Мне казалось, что отец сумасшедший, что вот-вот

он схватит стул, бросит его об стену, с грохотом опрокинет на пол комод, вышвырнет одну за другой в окно все тарелки, а потом закричит и возьмется за меня.

Однажды отец пришел домой раньше, чем всегда. В руках у него было много свертков. Я сперва подумал, что это отец купил мне гостинцы, и обрадовался.

Но отец бросил свертки на ободранный стол и сказал:

— Поедем, сынку, отсюда к Марье Афанасьевне. Раз такое дело стряслось, чего ж нам больше здесь оставаться.

Я знал, что Марья Афанасьевна, отцова сестра, живет в городе, до которого надо ехать трое суток по железной дороге.

На следующий день мы уехали.

...Так, вспоминая о своем отце и о том, как мы переехали сюда, я заснул.



НАДО УДИРАТЬ!

Утром, когда я еще спал, ко мне прибежали Петька с Куницей.

Молчаливый, всегда угрюмый Куница был встревожен. Про Маремуху и говорить нечего.

— Мы удрали со второго урока! — запыхавшись сказал Куница.

— Котька Григоренко пришлет за тобой гайдамаков, и тебя посадят в вязницу!¹ — оглядываясь по сторонам, выпалил Маремуха.

— погоди... Расскажи ему всё с начала! — перебил Петьку Куница.

— Я был в уборной... с утра. . как пришел в гимназию... Слышу — голос Котьки за перегородкой... Поглядел в щелочку, а там Жоржик Гальчевский курит около стенки, а Котька ему рассказывает. Я встал на цыпочки и подслушиваю. „Ударили черепицей по лампе, керосин хлынул прямо на столик“, рассказы.

¹ Вязница — тюрьма.

вает Котька. Ага, думаю, это про вчерашнее. „Чуть дом не спалили. Хорошо, папа схватил горящий столик да швырнул в сад на клумбу...“ Потом Гальчевский что-то у Котьки спросил, а что, так я и не расслышал, а Котька и говорит: „А за то, что его из гимназии выгнали!“ Ага, думаю, разговор про тебя, Василь. А тут, как назло, кто-то вошел в уборную, они замолчали, а я тогда выскочил в коридор и — к Юзику. Рассказал ему всё, и вот мы со второго урока удрали, чтобы тебе сказать. Пение было. Родлевская ушла за нотами, а мы — к тебе.

— Тебя с Куницей не вспоминал?

— Меня? Нет! А что? — заволновался Маремуха.

— И не говорил, что делать будет?

— Больше я ничего не слыхал! — ответил Петька, потом вдруг подпрыгнул и радостно выкрикнул: — Да, я ж тебе, Васька, самого главного не рассказал! — И, передохнув, он выпалил: — У Кияницы вся ряса сгорела. И бороду свою рыжую он подпалил. Вот здорово! Правда?

Но и это меня не утешило.

„Дело худо, — думал я. — Если Котька подозревает, что это я бросил черепицу, то, конечно, он уж не одному Гальчевскому рассказал об этом“.

— Ну... а ты что скажешь, Юзик? — спросил я Куницу.

— Я вот что думаю, — сказал Куница. — Все втроем мы должны удрать к большевикам. Тут, в городе, нам оставаться нельзя. Котька хитрый. И ябеда. А сейчас, посуди сам: ночью в дом бросают камни. Кто бросил? Тот, кому Григоренки шкodu сделали. А кто зол на Котьку? Ты, Василь! Ведь позавчера ты дрался с ним? Дрался. Тебя за это исключают из гимназии. А кто пожаловался на тебя? Котька! На кого ты будешь сердитый? На Котьку! Ну, а еще... — Куница поглядел в сторону Маремухи, — еще он может думать и на тебя, Петро...

— Почему на меня? — встрепенулся Маремуха. — Я ж не бросал камни. А я при чем?

— Не бросал, так мог бросить! — сказал Куница — Слушай, ты! Григоренко заходит к вам в дом, видит больного большевика, рассказывает о нем гайдамакам, —

те приехали, хватают его, вяжут, а твоего папу бьют нагайкой. Ты будешь или не будешь злой? Будешь злой и на гайдамаков и на Григоренко.

Я впервые увидел Куницу таким. Он разговаривал с нами, как взрослый. Глаза его горели.

— Хорошо, Юзик! Пусть будет по-твоему. Но что же делать? — спросил я.

— Что делать? — задумчиво повторил Куница и, помедлив, убежденно ответил: — Я же сказал: надо убегать к большевикам. Возьмем хлеба побольше и пойдем на Жмеринку. Большевики в Жмеринке. Поступим у них в разведчики. Понятно?

— А родные?.. — спросил Маремуха. — Они не пустят...

— Родные! Родные! Эх ты, нюня! А что, лучше будет, если тебя из-под маминой юбки гайдамаки в вязницу потащат? — закричал Куница.

— Постой, Юзик, не кричи, — тихо сказал я Кунице. — А если красные еще не в Жмеринке? Где мы их будем тогда искать? А ночевать где? Вдруг — дождь? Только тише ты, не кричи, — Марья Афанасьевна услышит.

— Красные в Жмеринке. Я тебе говорю! — уверенно повторил Куница.

Пусть так. Но меня пугает такая дальняя дорога. Ведь до Жмеринки так далеко! Как мы дойдем туда пешком?

— Юзик, послушай, — сказал я, — зайдем сперва в Нагоряне. Я очень хочу батьку повидать. Ведь Нагоряне по пути, там отдохнем. Оттуда и в Жмеринку ближе, а?

— Ладно! Но если итти, так теперь же! — решил Куница. — Долго не ковыряться!

— А что нам ковыряться? Вы бегите собирайтесь, я только возьму перочинный ножик, рогатку и хлеб. Я вас буду ждать около Успенской церкви, в скверике!

Мы сразу же расстались.

Выпустив хлопцев на улицу, я побежал в комнату. Марья Афанасьевна была на огороде. Это хорошо — ничего не надо объяснять. Я схватил свои припасы и помчался к Успенской церкви. Через несколько минут с сеткой и бамбуковым удищем туда прибежал

Маремуха. В руке у него болталась беленькая жестяночка из-под консервов.

— На червей! — объяснил Петька.

Куница прибежал последним. Он держал в руках фляжку с водой и маленький сверток.

— Это хлеб с брынзой! — запыхавшись объяснил он. — У тебя, Петька, большие карманы, на, возьми.

Петька сунул сверток в карман.

Куница взял у Петьки удилище, и мы тронулись в путь.

К вечеру, когда порозовевшее солнце спускалось за белые скалы, мы подходили уже к Нагорьям. За перевалом, где дорога круто свернула вниз, я узнал знакомую березовую рощу.

Ну да, это она, милая березовая роща! Здесь мы сделаем привал!

Высокие белоствольные березы шуршат прозрачной глянцовитой листвой, сквозь нее просвечивает ясное, чуть порозовевшее небо. Внизу, в лощине, под глинистыми, осыпающимися склонами журчит родник. Обнаженные коричневые корни берез омывает лесная вода.

Юзик Стародомский с размаху бросил в ручей камень. Раздался звонкий всплеск воды, и брызги упали в прибрежную траву.

— Хлопцы, полежим! — предложил Петька.

Пятнадцать верст — не такая уж большая дорога, но у Петьки на спине намокла от пота рубаша. Он здорово заморился.

— Только недолго! — предупредил я, опускаясь на мягкую траву.

Куница улегся рядом со мной. Длинное петькино удилище он, точно пику, поставил под маленькой березкой.

Я перевернулся на спину и рассказал ребятам, как мы в прошлом году весной вместе с моим двоюродным братом Оськой пили здесь березовый сок. Сок был замечательный. Штопором перочинного ножа я продырявил тогда вязкую кору у подножья ~~вон~~ той самой старой березы, что склонилась над родником.

К пробуравленному отверстию я прикрепил желобок из белой жести, а Оська подставил коричневую бутылку. Не успели мы отойти, как из дерева в бутылку закапал чуть желтоватый березовый сок. Пока бутылка наполнялась соком, мы кувыркались на лужайке в густой зеленой траве, пугая зябликов, и фуражками ловили на первых весенних цветах мохнатых черно красных шмелей.

Мы запоминали, где какая птица вьет гнезда, чтобы потом прийти поглядеть на ее детенышей. Мы натывались на холмики свеженасыпанной земли, нарытой слепыми кротами. Так, кувыркаясь и удивляя друг друга новыми находками, мы, подконец утомленные, вот как сейчас, падали в траву.

А потом, когда березового соку натекло в бутылку много, мы выпили его тут же на поляне. Он булькал у нас в горле — чуть горьковатый первый сок весны! Жадно облизываясь, мы следили друг за другом, чтобы, чего доброго, никто не отпил лишнего.

Как жаль, что сейчас нельзя было набрать соку из этих берез, весь сок давно ушел в листья, — а то мы бы напились его вдоволь.

— Да, это было бы здорово! — сказал Куница. — Ну, ладно, пошли, что ли?

— Верно, пойдем, тут ведь пустяк осталось дойти, — согласился я.

Куница быстро вскочил на ноги, оставив после себя вмятину на лужайке.

Петька Маремуха встал нехотя, потягиваясь, как объевшийся кот. Он ленивый у нас, этот коротышка, недаром такой жирный.

— Пойдем, пойдем, нечего тебе потягиваться. Там отдохнешь. Ишь раззевался, — подтрунивая над Маремухой, сказал Куница, и мы покинули березовую рощу.



В НАГОРЯНАХ

Далеко от главного Калиновского гракта, который ведет на Киев, около узенькой, но глубокой реки, на глухой проселочной дороге лежит село Нагоряне. Очень неровное, с крутыми пыльными улицами, это село раскинулось на буграх, над скалистыми обрывами.

Перевалив через Барсучий холм, мы увидели соломенные крыши нагорянских хат. Мой дядька Авксентий жил на окраине села, возле кладбища.

Возле его хаты сохли на плетне глиняные, с почерневшими доньшками горшки и мокрое потрепанное рядно. Три курицы рылись под крыльцом, вздымая облачка серой пыли.

— Подождите тут. Я схожу в хату, вызову дядю, — сказал я Маремухе и Кунице.

В последнюю минуту у меня ёкнуло сердце: а не нагорит ли от дядьки за непрошенных гостей? Но не успел я переступить порог крыльца, как дядька Авксентий, услышав говор на дворе, появился на пороге сам. Высокий, рослый, в свисающих штанах, в холстинной сорочке, с недовязанным остроносым постолом¹ в руках, он пошел нам навстречу. Лицо у дядьки Авксентия было смуглое и обветренное.

¹ Постолы — обувь из сыромятной кожи.

— Ого, та це Василь! Откуда? Ну, здравствуй! Вот не ожидал! Счастливый день будет, если с вечера гостей встречаю. А хлопцы возле тына твои? — спросил дядька, пожимая шершавыми, жесткими пальцами мою руку.

— Мои, мои, дядя! Добрый вечер! Мы вот пришли к вам рыбу половить...

— Ну что ж, заходите, рыбы на всех хватит. Мы с Оськой вчера целый вечер лазили по воде, даже я застудился. Хриплю, чуешь как? Ну чего ж вы на дворе стоите? Заходите в хату.

— Дядя, а тато где? — осторожно спросил я, переступив порог.

Задымленная комната с широкой постелью в углу была пуста.

— Мирон?.. А его здесь нет... Мирон пошел с Оськой в Голутвинцы... Там ярмарка... — как-то нескладно ответил дядька.

Значит, мы разминувшись с отцом? Ведь Голутвинцы под городом. А может, он зайдет оттуда домой, в город? Вот будет жалко!

— Да садитесь, хлопцы! Ну чего ж вы стоите? — пригласил Авксентий. — Рассказывайте, что нового в городе. Как там гайдамаки поживают? У нас их тут что-то мало. Проскочит один-другой по шляху, а в село заезжать боятся.

Я уселся на треногий стульчик и, глотая слова, рассказал дядьке, как гайдамаки обыскивают жителей каждую ночь, как попы служат в кафедральном соборе молебны за здоровье Петлюры, рассказал и о том, как закрыли наше училище.

Петька Маремуха вместе с Куницей уселись на лавочке. Они не освоились еще. Маремуха с любопытством оглядывал задымленную печь, набитую желтой соломой. Возли печи на полу лежала кучка сыромятных, покрытых шерстью ремешков, из которых дядька плел себе постолы.

Осмотрев комнату, Петька выглянул в окно, побаиваясь, как бы не сперли бамбуковое удище и сетку. Зря боится — не сопрут: здесь не город, все люди знакомые, все на примете.

Куница исподлобья поглядывал на дядьку. Потом тихонько дернул меня за локоть и прошептал:

— Про крепость расскажи... И про губернаторский дом.

— Хорошо, хорошо — не мешай! — отмахнулся я и торопливо рассказал дядьке о том, что мы увидели в крепости.

Морщинистое лицо Авксентия нахмурилось, смуглая его шея набухла упрямыми складками. Об атамане Драгане и его черножупанниках я рассказать не успел. Дядька поднялся и перебил меня.

— Вот что, хлопцы, я сейчас, пожалуй, схожу к одному человеку, у него хороший бредень есть. Договорюсь с ним, чтобы завтра с утра ловить рыбу. Он живет тут близенько.

Я увидел, как сразу заблестели от удовольствия глаза у Куницы и Маремухи.

Хорошо, что я уговорил их зайти в Нагоряне. Понемногу я начинаю забывать о городе, о тяжелых воспоминаниях и волнениях, которые связаны с ним. Здесь, в Нагорянах, куда веселее и привольнее.

— Хлопцы, — сказал я, — завтра, как половим рыбу, в лес пойдем. Я покажу вам Лисьи пещеры!

— Куда, куда? В Лисьи пещеры? А где же они есть такие? — вдруг нахмурился дядька.

— Как где? Вы же сами меня водили! Помните, прошлым летом?

— Я? Ну да, верно... А я и позабыл... Ох, какие непоседы! Не успели в гости прийти, а уж дидько лысый тащит вас в какие-то пещеры. Не ходите туда, ну вас! Гадюк там теперь развелось — сила! Еще ужасит какая.

— Ну, тогда мы пойдем на речку, к сломанному дубу, — нерешительно сказал я, про себя соображая, что от сломанного дуба к Лисьим пещерам рукой подать.

— На речку можно, — согласился дядька и надел свой соломенный капелюх.

У двери он повернулся и позвал меня:

— Выйди на хвылынку,¹ Василь!

¹ На минутку.

Я вышел вслед за Авксентием во двор. Молча мы зашли в клуню. Меня сразу же обдало запахом сухого сена.

— Василь, — тихо и строго спросил дядька, — а кто эти хлопцы, что с тобой пришли?

Смущенный строгим голосом Авксентия, я рассказал, кто такие мои приятели.

— Батько Маремухи живет в усадьбе Григоренко? — спросил дядька.

— Ну да! — обрадовавшись, подтвердил я.

— Он мне в позапрошлом году чоботы справил, — вспомнил Авксентий. — А второй кто?

— А это Юзик Стародомский. Его отец собак ловит. Гицель. Он возле Успенской церкви живет.

— Слухай, Василь! — сказал тогда Авксентий и взял меня за плечо. — Завтра я тебя проведу к батьке. Он никуда не уходил. Это я нарочно про ярмарку сказал. А ты никому не смей говорить, что батька в Нагорянах. А то враз приедут гайдамаки и похватают его, да и меня вместе с ним. На меня они зуб мают с прошлого года, и до Мирона у них тоже дело есть. Я тебе ничего не забороняю, можешь водить хлопцев везде, завтра мы рыбу половим вместе, только обо всем — молчок. Хлопцы-то знают, что батько здесь?..

— Да, я говорил...

— И что у меня живет, тоже знают?

Я виновато молчал.

— Эх ты, шалапут. Все успел выболтать... — с укором сказал дядька.

Слова эти задели меня за живое. А я разве знал, что нельзя говорить про отца?

— А что тато сделал, Авксентий Афанасьевич? Ведь он ничего не должен петлюровцам!

— Не должен, — ухмыльнулся дядька. — Рано тебе знать еще, должен или не должен.

— Да ведь мы... — с жаром сказал я и остановился. Хорошо бы, конечно, рассказать дядьке, что мы собрались к большевикам, но тогда надо рассказывать и об исключении из гимназии. Нет, уж лучше помолчу...

— Ну? — дядька опять строго посмотрел на меня. — Кажи, чого зупынувся?

Стараясь уйти от неприятного разговора, я промямлил:

— Мы... мы... — и потом выпалил: — Да мы сами не любим гайдамаков! Вы не бойтесь, дядя!

Лицо дядьки Авксентия сразу подобрело. Он улыбнулся. А я отважился и, вспомнив о хлопцах, которые дожидаются меня в хате, спросил:

— Дядя, а нельзя нам сегодня рыбу половить?

— Рыбу? Сегодня? Вот далась вам эта рыба. Ну ладно — рыба, так рыба! Раз такое дело — без бредня обойдемся. Сам поведу вас глушить рыбу. Теперь, правда, время такое, что бомбы переводить жалко, ну да ладно — для гостей не пожалею. Видал, как рыбу бомбами глушат? Ну, ничего, еще раз поглядишь! Только вот не поморились с дороги? Голодны, небось?

— Нет, нет, мы ели дорогой...

— Ну, тогда подождите меня, а я до соседа заскочу. Я быстро.

Я побежал в хату, предупредил хлопцев, что мы пойдем глушить рыбу. Пока дядька ходил в соседний двор, мы отдохнули с дороги в низенькой прохладной хате, а потом вышли на улицу. Я насилу уговорил Маремуху оставить дома сетку. Зачем она сдалась, когда одной бомбой можно наглушить рыбы втрое больше?

Вскоре из соседнего огорода вышел дядька, держа на ладонях две ржавые кругленькие бомбы.

Маремуха с опаской взглянул на них. Да и мы с Куницей шли рядом с дядькой не без волнения: „А вдруг он споткнется и упадет? — думал я. — Ведь бомбы тогда могут взорваться и разнести нас в клочья“. Но дядька и не собирался падать; держа в руках пустое ведро, он спокойно шагал под гору — широкоплечий, кряжистый, загорелый. Бомбы он положил в карманы.

Место, куда привел нас дядька, было пустынное, тихое. Среди деревьев, над обрывистым берегом реки зеленела небольшая прогалина.

Нагоряне остались где-то позади, за лесом: старые яворы, кривоствольные дубы и целые заросли бузины отделяли нас от села. Внизу, под скалистым обрывом, текла река. Отсюда, с высоты, вода в речке казалась черной.

На берегу, усыпанном камнями, я увидел опрокинутую вверх дном лодку. Сбоку, где скалы обрывались не так круто, белела тропинка.

— Слушайте, хлопцы, — поглядев вниз, приказал дядька. — Я в речку не полезу, брошу вам бомбы, а рыбу вы уж сами будете ловить. Зрозуміли? А теперь — марш отсюда! Прячьтесь вон за те деревья.

Мы побежали вверх по течению реки на бугор, поросший густым лесом. Прячась за высокий ясень, Маремуха крепко обнял его руками. Казалось, он собирается валить дерево. Куница присел на корточки за дубом и, высунув из-за ствола голову, следил за Авксентием. Стоящий на краю обрыва дядька был хорошо виден нам отсюда.

Отшвырнув в траву капелюх, дядька полез в карман, вынул бомбу и осторожно положил ее на траву около капелюха. Потом он достал вторую и, сразу выдернув из нее шпильку, бросил бомбу далеко на середину речки. Только бомба отлетела, как дядька упал в траву. Прижавшись к ней лицом, он лежал, как убитый. Не успели разойтись и подкатиться к берегу вздрагивающие круги, как вдруг с самого дна тихой и спокойной реки вырвался ослепительно белый столб закипающей воды. Он взлетел почти на высоту обрыва. Мне казалось — еще немного и брызги этой белой воды упадут на лежащего ничком дядьку.

Гул от взрыва прокатился далеко за лесом. Чудилось — вот-вот повалятся на нас высокие дубы, а полянка, с дядькой вместе, задрожав, рухнет с обрыва в реку.

Но не успело еще смолкнуть эхо от взрыва, как дядька не спеша, точно он отдыхал, поднялся и взял вторую бомбу.

Он долго выдерживал ее шпильку, — наверное проволочка заржавела и не поддавалась, — а мне не терпелось. „Ну, ну, скорее, а то разорвет!“ Наконец, дядька освободил рычажок и швырнул бомбу вниз. Эта упала ближе, где-то у самого берега.

Взрыв второй бомбы показался нам уж не таким страшным. Подумаешь! Я и сам бы мог бросить бомбу.

По крутой белой тропинке, цепляясь руками за камни, мы помчались вниз, к речке.



На середине реки белела всплывшая рыба.

Кое-где уже всплыла оглушенная рыба.

Дядька уселся на берегу и закурил, а мы мигом сорвали с себя одежду и полезли в воду.

Но дядька тоже не утерпел, — он положил недокурную цыгарку на камешек и стал раздеваться; потом, легко перевернув лодку-плоскодонку, достал из-под нее куцее весло и, оттолкнув лодку на воду, с разбегу прыгнул на корму.

Мохнатый, смуглый, дядька сидел на корме, загребая узеньким веслом воду. Вихляя и покачиваясь, лодка выплыла на середину реки.

Мы бросились за ней вдогонку. Каждому из нас хотелось скорее доплыть туда, на середину реки, где белела всплывшая рыба.

Скользкие, покорные, словно неживые, рыбыны то и дело выскальзывали у меня из рук.

Я ловил их снова, то под самым носом у Петьки, то у Куницы, и швырял в лодку. Рыбы шлепались к волосатым ногам дядьки, блестящие, с серебристо-синей чешуей. Глаза у них были пьяные от страха.

Я кувыркался в пахнущей тиной воде, наотмашь хлопал по ней ладонями, кверху подлетали прозрачные брызги. Мне было почему-то очень радостно и весело.

— Тише ты, шалапут, не брызгайся! — закричал мне голый дядька, которого я обдал водой.

Куница схватил большую скользкую марену прямо ртом. И как ему не противно? Держа марену в зубах, он сцапал еще у меня под боком щучку и окуня и поплыл к лодке, шлепая по воде свисающими рыбьими хвостами.

Бросив дядьке добычу, Куница перевернулся на спину, оскалил на солнце зубы и, отдыхая, почти не шевелясь, медленно поплыл вниз.

Рыбы много. Собрав самую крупную в ведро, дядька выбросил мелкоту обратно в реку.

— Нехай растет! — улыбнулся он, заметив, что мы с сожалением наблюдаем, как рыбы уплывают по течению. — Подрастет, опять словим. От меня еще ни одна рыба не убегала.

Мы возвратились в село с богатым уловом.

Жена дядьки, Оксана, плечистая, как и он сам,

быстро растопила печь. Она выпотрошила нашу рыбу и, вымыв ее, вываляв в муке, бросила на сковородку, в горячее масло.

Дядька нечаянно раздавил рыбий пузырь, он лопнул у него под ногой, как хлопушка.

Поев как следует жареной рыбы, — уху Оксана пообещала сварить завтра, — мы отправились в клуню, усталые и сытые.

— Василь, а у тебя дядька отчаянный, — ворочаясь рядом, прошептал Маремуха.

— Ловко он бомбу бросил, да? — с завистью вспомнил и Куница, зарываясь в сено.

— Ну, бомба — это что, вы бы посмотрели, как он из винтовки по зайцам палит! — обрадовавшись, что мой дядька понравился хлопцам, похвастался я. И, прежде чем заснуть, я долго рассказывал Петьке и Кунице всё, что знал о дядьке Авксентии.

Зимой из обыкновенной русской, принесенной с фронта винтовки дядька подшибал на полях длинноногих зайцев.

Как-то раз он при мне из этой самой винтовки подстрелил ширококрылого ястреба. Ястреб, который несколько минут назад, высматривая добычу, плавно кружился над деревьями, вдруг затрясся там наверху, в небе, и, точно рваная серая тряпка, полетел вниз.

Падая, ястреб застрял в ветвях старого явора. Я уж было полез за ним на дерево. Но только я ухватился за первую ветку, как ястреб сорвался оттуда и, хлопая слабеющими крыльями, упал на покрытую прелыми листьями землю. Я с опаской ловил подстреленную птицу, а дядька хитро улыбался и скручивал цыгарку...

В первый приход гайдамаков, прошлым летом, когда петлюровские чиновники стали выкачивать по селам оружие, нагорянский поп, с которым Авксентий давно был не в ладах, донес петлюровцам, что у дядьки есть винтовка и три цинковых коробки патронов. Винтовку гайдамаки нашли в скале над хатой, а патроны — в пустой собачьей будке на дядькином дворе.

Сперва Авксентия выпороли на выгоне у сельской церкви, выпороли, как смеясь говорили гайдамаки, „на початок, щоб добрий був“, а потом на реквизиро-

ванной в этом же селе подводе повезли в город. По дороге, когда подвода проезжала Калиновским лесом, дядька Авксентий ударил охраняющего его петлюровца своим тяжелым кулаком между глаз и скрылся в лесной чаще.

Возница, который вез моего дядьку и его конвоиров в город, был наш знакомый, односельчанин Авксентия. В этот же день вечером он пришел к моей тетке и рассказал, как убегал Авксентий. Петлюровцы, которые везли дядьку, не ожидали побега. Один из них дремал, а тот, кого дядька ударил в переносицу, закуривал папиросу. От дядькиного удара все лицо у него залилось кровью, и нос сразу вспух, как бульба. Возница говорил, что гайдамаки, не слезая с телеги, не целясь, наобум стреляли в лес, по деревьям.

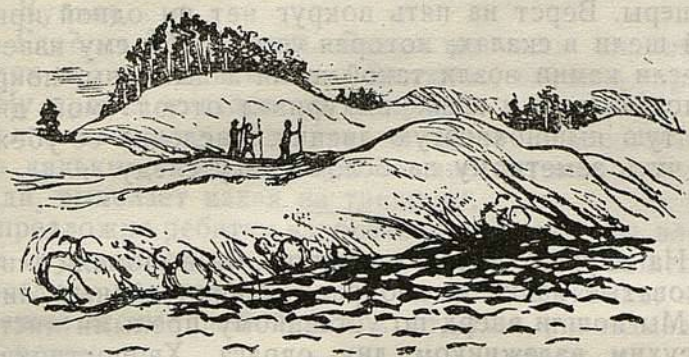
А у нас в то время гостил сын дядьки, мой двоюродный брат Оська. Тетка ничего не сказала ему об этом происшествии. Только потом от односельчанина дядьки мы узнали, что Авксентий благополучно удрал от гайдамаков, что он жив-здоров, но живет не в селе, а прячется где-то в лесу.

В другой раз односельчанин передал нам от дядьки Авксентия подарок — кусок сотов с медом диких пчел. Бродя по лесу, дядька нашел в дупле возле Лисьих пещер пчелиное гнездо, пчел выкурил дымом, а мед забрал.

В этот раз о побеге узнал и Оська. Он очень гордился и подвигом отца и этим медом.

— Василь! А Лисьи пещеры далеко отсюда? — толкнул меня Петька Маремуха.

— Близо. Ну ладно, давай спать, — сказал я. — Завтра утром я сведу вас туда, Посмотришь сам.



ЛИСЬИ ПЕЩЕРЫ

Мы спали очень долго, а когда проснулись, дядьки уже не было. Он пошел за солью на другой конец села. Мы позавтракали без него.

Надо хоть снаружи, пока дядьки нет дома, осмотреть Лисьи пещеры.

Я веду ребят туда нижней дорогой, которая вьется по каменистому берегу реки.

Река чуть-чуть дымится. Жирные лягушки, услышав наши шаги, громко шлепаются одна за другой в воду. Скалы бросают тень на берег. Вдали видна обросшая доверху лесом Медная гора, за ней, у поворота реки, Барсучий холм, и еще дальше — белеющие в зеленом лесу выщербленные ветрами „товтры“.

Далеко на юго-запад, к отрогам Карпатских гор, к Галиции, уходит эта белая гряда известковых каменистых холмов, которые здесь называются „товтрами“. В этих „товтрах“ скрыто немало ущелий и пещер.

Местные жители боятся забираться далеко в „товтры“ и при случае обходят их сторонкой. Местные жители говорят, что в „товтрах“ живет „нечистая сила“: она хватает человека, как только он переступит порог ущелья или пещеры, и тащит его дальше, под землю, в пекло. Мой дядька Авксентий, пожалуй,

лучше всех нагорянских крестьян знает соседние пещеры. Верст на пять вокруг нет ни одной приметной щели в скалах, которая не была бы ему известна. А если камни возли такой щели задымлены, покрыты копотью, так и знай: выкуривал отсюда мой дядька желтую пышнохвостую лисицу, выследив ее убежище по чуть заметному на белом снегу следу...

На опушке леса, в орешнике, мы выломали длинные суковатые палки и ободрали с них зеленые листья.

Мы пошли вверх по устланному прелыми листьями и сухим валежником дну оврага. Хворостинки похрустывали у нас под ногами.

Мы шли втроем, отважные, храбрые путешественники.

Куница, хоть и не знал дороги, но шел впереди, как атаман. Петька пытел рядом со мной, низенький, толстый. Он сопел — ему было тяжело карабкаться вверх по неровному дну оврага.

Обомшелые деревья росли по обоим склонам оврага. Их густая листва закрывала солнце. Легкие прозрачные папоротники дрожали у нас под ногами.

Когда мы подошли почти вплотную к тому месту, где начинались Лисьи пещеры, я первый выскочил на ровную, усыпанную мелким щебнем полянку.

— Глядите, ничего не видно, правда? — гордо показал я ребятам на круглый, черный, местами обросший мхом камень, который лежал под скалой. Камень этот казался сброшенным откуда-то сверху, с Медной горы.

— Ну, а где ж пещеры? — спросил Куница.

— А вот, гляди! — И я спрятался за камень. Он лежал как огромная черная тыква на баштане и прикрывал собою вход в подземелье.

Прямо передо мной в скале чернела трещина. Никто бы и не подумал, что здесь начинаются Лисьи пещеры. На самом деле пройти в пещеры можно легко и свободно.

Позади часто, тяжело дышал Маремуха. Ребята обошли камень и стояли у меня за спиной.

— Обязательно пойдем сюда! Сегодня же. Свечей достанем и пойдем! — сказал Куница. Высокий, худощавый, он жадно глядел в трещину скалы.

— Чудак, где ты достанешь здесь свечей? — ответил я Кунице.

— Где?... А в церкви. Здесь же есть церковь? Сегодня что у нас? Пятница. Эх, жаль, службы утром нет. Ну просто у старосты попросим или купим.

Долго стоять перед входом было страшновато. Слова дядьки о гадюках запали мне в голову. Того и гляди, выползет какая из трещины...

Я предложил ребятам взобраться повыше. Мы влезли на круглый камень, закрывающий вход в пещеры. Мы уселись на этом холодном, скользком камне, как настоящие лесные разбойники, и, отдыхая, поглядывали по сторонам.

В лесу было очень тихо. Кое-где сквозь густую листву высоких ясеней пробивался косой солнечный луч, освещая радостным, золотистым светом сырой полумрак оврага. Вокруг было глухо и влажно, словно в погребе. На опушке, должно быть, солнце грело всю, а тут нам казалось, что уже наступил вечер.

Вдруг Маремуха дернул меня за ногу и кивнул на пещеры.

Что там такое? Гадюка?

Теперь и я услышал какой-то глухой звук, раздавшийся в подземелье.

Не то кто-то кашлянул там, не то камень оборвался и упал на землю.

— Ты слышал? — шепнул я Кунице.

Куница сразу насторожился и лег на камень. Мы легли рядом с Куницей.

В пещере снова кашлянули, на этот раз еще ближе. Может, это лает лисица, забавляясь со своими детенышами? Опять, где-то совсем близко, захрустел щебень. И вдруг из темной щели высунулась наружу чья-то рука, а затем на площадке появился человек.

От неожиданности я вздрогнул. Да ведь это же мой батько!

Он здорово оброс! У него отросли и усы и борода, но я узнал его сразу и по синей сатиновой рубашке и по знакомому широкому ремню на ней. Мне хотелось крикнуть ему: „Тато, татко! Я здесь!“ Но крик застрял у меня в горле. А отец обернулся к нам спиной и крикнул в пещеру:

— Выходите, где вы там?

И тут из подземелья к черному камню выскочил Оська, а за ним вышел какой-то обросший бородой человек в резиновом плаще.

— Это свои! — выкрикнул я, толкая хлопцев, и мы кубарем скатились на землю. Я первый, обежав круглый камень, выскочил навстречу отцу, но сразу же шарахнулся в сторону.

Отец целился в меня из нагана, человек в резиновом плаще — тоже.

„Они сумасшедшие!“ подумал я и что было силы рванулся к оврагу.

— Васька! Василь! Не втикай!¹ — закричал мне вдогонку отец.

Я сразу остановился и с опаской поглядел назад.

Отец стоял, опустив револьвер. Он всегда был молчаливый, угрюмый, почти никогда не улыбающийся. А вот теперь он улыбался, видно, довольный тем, что повстречался со мной здесь, в лесу. Надо было сразу броситься к нему на шею, поцеловать его в густые, колючие усы, но я подошел к отцу, как к чужому — медленно, неловкими шагами. Перепуганные Куница и Маремуха выглядывали из-за камня.

— Как ты попал сюда, Васька? — удивленно спросил отец, нагнувшись и целуя меня в лоб.

— Я из города... Мы зашли к дядьке Авксентию...

— Откуда ты знаешь эти пещеры?

— А меня позапрошлый год дядька Авксентий водил сюда...

— Дядька Авксентий? — переспросил отец и недовольно крикнул.

Потом он покачал головой и, заметив стоявших в отдалении хлопцев, спросил:

— Это Маремуха, да? А второй кто? Я уж позабыл!

— Юзик Стародомский...

Оська подмигнул мне из-за спины отца.

— Это наши, зареченские... — вполголоса сказал отец обросшему человеку.

¹ Не удирай.

Тот вслед за отцом спрятал в карман револьвер. И вдруг... Что такое? Не может быть! Ведь это Давид Лейзерович! Ну да, Давид Лейзерович, наш сосед, который тогда отстреливался от гайдамаков из башни Конецпольского. С перепугу я его сперва не узнал. Вот здорово! Значит, Давид жив? Но как он оброс,— видно, не брился добрый месяц.

— Дядя Давид, добрый день! — весело сказал я, протягивая Лейзеровичу руку. — Помните, как я тогда вам в управу карабин принес?

— Помню, помню! Как не помнить? — улыбнулся Давид. — И вот этот хлопец еще был с тобою. Правда? — показал он на Куницу.

— Да, и он был. Вы нам камеру потом подарили.

— Ну как, пригодилась?

— А как же? Пригодилась. Резина хорошая была!

— А я говорил Ваське, что вас не поймают, — сказал, подходя к Лейзеровичу, Куница.

— Кто поймает? Кто меня может поймать? — насторожившись, спросил Лейзерович.

— А гайдамаки!.. Мы с Васькой тогда видели, как вы заскочили в башню. Помните? А тот гайдамак хотел перебежать кладку, а вы в него выстрелили, и он упал прямо в речку!

— Ах да, вон ты про что, — сказал Давид и удивленно посмотрел на Куницу. — Ну, это когда было! Я уже позабыл. Да разве так ловят? Так, брат, ловить, знаешь, чур-чура — не считается.

— Дядя Давид, а вы знаете, что с тем человеком? Лейзерович насторожился и пристально посмотрел на меня.

— С каким человеком?

— Ну с больным. Помните, вы его ночью к нам приводили.

— Сергушин? — подсказал Давид.

— Я не знаю фамилию. Ну, тогда ночью вы с ним пришли.

— Да, да, Сергушин, — сказал Давид.

— Так его ж убили! Мы сами всё видели! — И я рассказал, как поймали Сергушина, как расстреляли, как мы втроем убрали его могилу.

Отец и Давид слушали мой рассказ очень внима-

тельно. Отец смотрел на меня чуть-чуть недоверчиво.

— Так вот оно что... — тихо сказал Давид. — Я уже знаю, что его расстреляли, а вот как это случилось — от вас первых слышу.

— Дядя Лейзерович, а кто был этот человек? — заглядывая в глаза Давиду, спросил Маремуха.

— Которого расстреляли? Этот человек... Долго рассказывать... Знаете что, вот давайте подсобите нам сейчас, а потом, пожалуй, я вам расскажу.

— А что подсоблять?

— Вход в пещеру завалим.

— А мы хотели...

— Что хотели?

— Хотели пойти посмотреть пещеры, — объяснил Маремуха.

— Нечего вам в пещерах делать, — строго сказал Давид. — Потом как-нибудь я сам вас сведу всех. Не верите? Спросите вот Оську, сколько пещер я ему тут показал. Верно, Оська?

— Показали! — согласился Оська.

— Вот то-то. А сегодня ходить туда нельзя! — сказал Давид и, оглядываясь, добавил: — Ну-ка, хлопчики, тащите камни из оврага, мы живо управимся.

Делать было нечего, пришлось таскать камни.

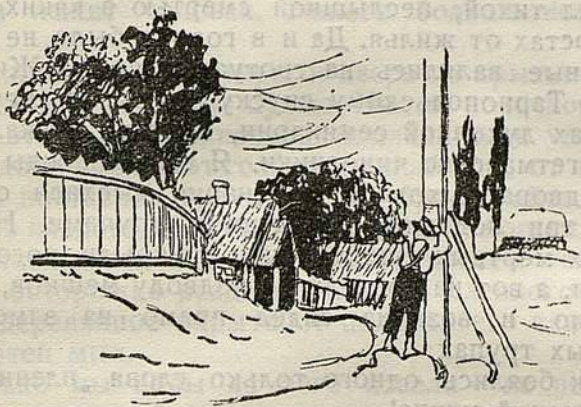
Пока мы таскали их, отец с Давидом заваливали этими камнями вход в пещеру.

Скоро от входа в пещеру осталась только маленькая щель.

— Фу! Заморился! — потирая руки, сказал Давид. — Пойдемте-ка. Оська, фонарь не забудь.

Мы пошли к лужайке над оврагом. Лужайка поросла свежей, сочной травой. Тут хорошо полежать. Трава мягкая, душистая.

Отец прилег в стороне, под высоким явором. Давид снял прорезиненный плащ и, сложив его вдвое, разостлал на траве. Он устроился на плаще и начал рассказ.



РАССКАЗ О НОЧНОМ ГОСТЕ

В ту холодную, ветреную зиму, — говорил Давид, — когда окончилась война с немцами, через наш город повалили военнопленные. Пожалуй, ни в одном городе России их не было столько в этот год. Ведь около наших мест пролегла главная дорога с фронта.

Голодные, худые, в рваных солдатских шинелях, с ногами, обмотанными тряпьем, пробирались они из немецкого плена на родину. Из-под Тарнополя и Перемышля через наш Крепостной мост шли пленные на вокзал, чтобы поскорее сесть на поезд и уехать в глубь России.

А той зимой появилась в городе опасная болезнь — испанка. Сотнями она уносила людей в могилу, и все очень боялись ее. С этой болезнью еще могли кое-как бороться те, у кого был дом, горячая пища, дрова.

Ну, а каково было пленным, глубокой морозной ночью пробиравшимся Калиновским лесом? Болезнь настигала их в пути. Измученный голодом, тяжелой дорогой, человек вдруг понимал, что дальше идти не может, что все тело горит, ноги подкашиваются, и — самое страшное — не от кого ждать помощи в незнакомом, засыпанном снегом лесу. И, чаго случилось, пленный присаживался на краю дороги, чтобы

немного отдохнуть, но уж подняться не мог, коченел и умирал тихой, неслышной смертью в каких-нибудь пяти верстах от жилья. Да и в городе было не лучше.

Пленные валялись на тротуарах вдоль Житомирской, по Тарнопольскому спуску и в сырых, нетопленных залах духовной семинарии, куда их пускали обогреться гетманские чиновники. Я сам однажды видел, как со двора духовной семинарии выехали одна за другой три подводы, заваленные трупами. На двух подводах мертвых еще кое-как прикрыли рогожными мешками, а вот на последнюю подводу мешков, видно, нехватило, и возница сидел прямо на замерзших, посинелых трупах.

А как боялись одного только слова „пленный“ на Житомирской улице!

Стоило пленному постучаться за помощью в дверь богатого дома на Житомирской, как мигом хозяйка тушила свет, и дом замирал. А если пленный очень уж долго стучался, горничная, звякнув цепочкой, чуть-чуть приоткрывала дверь и кричала пленному:

— Хозяев дома нету! Бог подаст!

Доктор Григоренко даже снял у ворот звонок и медную дощечку со своей фамилией. Он боялся, чтобы, не дай бог, к нему не позвонил какой-нибудь измученный пленный.

А наши зареченцы хоть и бедные были, но нередко сами зазывали пленных к себе — поесть горячего борща, отогреться у плиты, а то и просто переспать на теплой печке. Зареченцы знали, что пленные такие же простые люди, что у них есть дети, матери, сестры, которые с нетерпением ждут их возвращения домой.

Однажды на рассвете и к нам постучали, но слабенько так, чуть-чуть. Мать моя проснулась и говорит:

— Давидка, поди спроси, кто там?

А я притворился, что не слышу, — очень уж хотелось мне спать. Тогда мама сама встала с постели. Она завернулась в одеяло, подошла к окну и стала дышать на замерзшее стекло. Вдруг она отскочила и — к отцу:

— Ой, боже ж мой! Человека у нас под окнами убили!

Мы открыли не сразу. Сперва все оделись. Потом гихонько на кухню вышел отец. Он выглянул на улицу

и увидел, что на обледеневших ступеньках нашего крыльца лежит человек. Никого больше вокруг не было.

Отважившись, мы открыли дверь на крыльцо и втащили человека к нам на кухню. Никто, конечно, его не убивал, это был обыкновенный пленный, и упал он у нашего дома просто от голода, от слабости, от испанки.

Мать поставила греть воду, а брат, Файвыш, притащил из кладовой большое деревянное корыто. Когда разгорелись дрова и в кухне стало совсем тепло, мы с отцом осторожно раздели больного пленного и посадили в деревянное корыто. Я поливал его теплой водой, а отец мыл.

Сколько мы воды на него извели — не передать. Один за другим я брал с плиты казаны с теплой водой и опрокидывал их на голову больному. Он скоро пришел в себя и только отфыркивался да глаза протирал. А Файвыш выносил грязную воду. Он выливал ее прямо с крыльца на улицу. Потом снег в этом месте почернел так, будто здесь грузили каменный уголь.

Все белье и одежду нашего гостя Файвыш сложил в тючок и, перевязав бечевкой, вынес в курятник, на мороз. Это ему мама моя покойная так наказывала:

— Человек нехай остается, а вошей его не надо. Пусть подохнут на морозе!

Звали больного Тимофеем, а фамилия его была Сергушин. Он возвращался из германского плена к себе домой, в Дзінбасс.

До войны Сергушин работал на Щербиновском руднике. У него под ресницами сохранились еще с той поры чуть заметные черные каемочки, — такие угольные каемочки, ребята, остаются почти у каждого шахтера, который долго рубил уголь.

Постлали мы нашему пленному в каморке за кухней, там он и лежал у нас.

В ту пору гетманская державная варта¹ строго-на-строго запрещала горожанам принимать к себе на жительство иногородних пленных, которые возвращались на родину. Гетман Скоропадский боялся, как бы среди пленных не оказались большевики.

¹ Так называлась полиция при гетмане.

Чтобы и к нам, чего доброго, не прицепились чиновники из гетманской варты, мы и слова никому не говорили про нашего пленного. На что вот Мирон — наш сосед, а и тот ничего не знал про Сергушина. Мы думали, что он недолго у нас погостит, но вышло по-иному.

Больше месяца пролежал пленный в темной каморке, а потом понемногу стал ходить по комнатам. Отец бывало как заметит, что Сергушин вышел из каморки, — мигом к двери и — на ключ ее: отец боялся, как бы кто из заказчиков не заметил пленного.

А Сергушин пообвык в нашем доме и начал понемногу подсоблять отцу.

Отец обтягивал коледку кожей, набивал подошву и отдавал Сергушину, а тот загонял деревянные шпильки. Здорово так наловчился — я и то не умел. Наберет в рот пригоршню шпилек — и пошел выплевывать, словно шелуху от семечек, одну за другой. Выплюнул шпильку, сунул ее в дырочку, ударил молотком, и нет шпильки, только маленькая квадратная шляпка из кожи торчит.

И брился он очень ловко: возьмет у отца обыкновенный сапожный нож и давай по оселку гонять. Водит, водит — иной раз добрый час. А наточит — нож словно бритва острый: хоть волос на лету руби. Потом, густо намылив бороду, так, что пена с нее падала на пол, он раза два проводил ножом по щекам — и волос как не бывало. Это его в окопах так бриться приучили. Побрившись, он пудрил лицо картофельной мукой, которую мама для киселя припасала.

Иногда он садился у окошка и вполголоса пел свои шахтерские песни.

Одну его песню я и до сих пор помню.

Я песню пою — от души она льется,
Хочу я в ней выплакать думы свои...
Как птица в неволе, во тьме она бьется
И тонет под сводом земли.
И скоро она, не допетая мною,
Умолкнет с закатом осеннего дня...
И новый товарищ, шагая к забою,
Ее допоеет за меня.

А развеселится — держись! Только поспевай смеяться. Он здорово умел показывать китайские тени. Ну

и ловкие же у него были пальцы, прямо удивительно. Мы бывало плотно закроем ставни, а он унесет в свою каморку лампу, поставит ее на корзину и давай перед стеклом пальцами шевелить. И сразу на стене тени забегают. Чего только он не умел показывать: и собак, и кошек, и сову, даже рак у него получался как живой. А однажды перед большой лампой обеими руками он показал нам, как дерутся два немецких солдата в касках. Мы со смеху чуть не поумирали.

Сергушин часто вспоминал свой рудник. Трудная у него была там работа, отчаянная. Последние месяцы перед мобилизацией он работал запальщиком: рвал под землей динамитом камень, пробиваясь к чистому углю.

А я рассказывал Тимофею об училище, о том, какие у нас учителя, какая это нудная штука — итальянская бухгалтерия. Однажды Тимофей слушал, слушал меня, а потом сказал:

— Брось ты, Давидка, к чертям это коммерческое, — все одно лавочника из тебя не выйдет, это я по носу вижу. Парень ты молодой, здоровый, тебе на коне верхом скакать, а не за конторкой киснуть над этой бухгалтерией. Сейчас, брат, другая коммерция нужна.

Ничего я не сказал в ответ Тимофею, потому что и без его слов коммерческое училище мне надоело хуже горькой редьки. Ведь это отец меня туда учиться послал. А сколько трудов это ему стоило, если б вы только знали! Три пары ботинок из лучшей кожи он сшил совсем бесплатно директору коммерческого училища пану Курковскому. У каждого из членов педагогического совета отец побывал на дому и просил, чтобы меня приняли в училище.

Отец думал, что если я обучусь коммерции, то быстро разбогатею и буду иметь такую же водяную мельницу, как у Овсии Орловского. Эта водяная мельница не давала ему покоя, а мне на нее было наплевать, вот почему мне понравились слова Тимофея.

Выздоровел Тимофей совсем и уходить от нас собрался.

— Куда пойдешь, мешигенер?¹ — стал отговаривать

¹ Сумасшедший.

его отец. — Из одной смерти насилу вылез, а сейчас другой захотел?

Отец был прав. Все пленные уже давным-давно прошли. Если бы Сергушин только появился на улице, его сразу бы схватили гетманские чиновники. А надо вам сказать, что старая одежда Сергушина, которую Файвыш вынес в курятник, пропала. Кто-то утащил ее из курятника. Сергушин ходил по комнатам в рваном отцовском сюртуке и в его длинных коричневых брюках. Под сюртук он надевал мою сорочку. Ох, и смешной же он был: волосы лохматые, русые, сам скуластый, худой, совсем не похож на еврея, а наряд еврейский. Выйди он только на улицу, его сразу арестовали бы.

Пришлось Тимофею остаться у нас, но он сказал отцу:

— Слушай, Исаак, ты хошь не хошь, а я тебе помогать буду. Семья у вас немалая, а я дармоедом никогда не был. Подмастерье, правда, я неважный но думаю — так-сяк на харчи себе заработаю. Иначе не останусь.

Чтобы не обижать Сергушина, отец согласился. И с этого дня Тимофей не отходил от верстака до самого обеда.

Когда я возвращался из училища, он расспрашивал меня, что в городе, какие новости, что слышно из Советской России. Он просил меня доставать ему газеты, и я часто приносил домой „Новую раду“, „Южную речь“ и „Киевскую мысль“.

Как-то раз я сказал Сергушину, что в городе на столбах расклеен приказ о наступлении немцев на Петроград. Ну, он и пристал ко мне: расскажи да расскажи, что написано в приказе. А я всего не запомнил. Вот и пришлось мне, как стемнело, бежать на базар за приказом. Долго, помню, я ходил около него: боялся, как бы не заметили гайдамаки. Когда никого вокруг не было, я сорвал приказ со столба и притащил Сергушину. Тимофей похвалил меня за это, и с той поры я, выбирая удобные минуты, часто сдирал с заборов и со столбов разные гетманские приказы и объявления и приносил их Сергушину. Он всё прочитывал и лучше моего отца знал, что делается

в городе. И вот однажды мама зовет его пить чай, а в каморке пусто. Мы туда-сюда, я на крыльцо выбежал — нет Сергушина. Пропал, словно нечистая сила его под землю утащила. Стало мне обидно: ушел, думаю, и не попрощался даже; хоть бы записку оставил. А мама даже сказала:

— Так всегда: сделаешь добро человеку, а он... — но не договорила. Отец посмотрел на нее, нехорошо так, и она сразу замолчала.

А поздно ночью слышим — кто-то в кухонную дверь барабанит. Отец подошел к двери, окликнул, — оказалось, Тимофей. Ночью мы его не расспрашивали, а уж утром пристали: „Где это ты пропадал вчера?“ Выдумывал он всякое, а правды нам так и не сказал.

И вот с той ночи повадился он уходить в город. Однажды он вернулся домой на рассвете, запыхавшись, точно за ним кто-то гнался, и долго смотрел в окно.

— Сиди дома, Тимофей! Куда тебя холера носит по ночам? — рассердился как-то раз отец, а мать добавила:

— Тоже мне шпацер¹ по ночам, когда люди спят. Еще беду накличете на нашу голову. И кого вы не видели на улице? Пьяных гайдамаков? Ведь знакомых-то у вас нет?

— Как знать, мадам Лейзерович, — шутил Тимофей, — знакомых найти не трудно, я парень веселый, у меня весь свет — знакомые!

И вот в одну ясную, лунную ночь город неожиданно заняли красные. Рано утром, чуть только рассвело, Сергушин ушел из дому — как всегда, без шапки, в отцовском сюртуке, в длинных коричневых штанах, в галошах на босу ногу.

Вернулся он вечером, и мы его не узнали. Он пришел в кожаной буденновке с красной звездой, в зеленой гимнастерке, в сапогах из хорошего хрома. Из кобуры у него выглядывала рукоятка нагана. Сергушин принес отцу его брюки, сюртук, галоши.

Сергушин рассказал нам, что немцев и гайдамаков

¹ Гулянье.

из города выгнал Сумский полк. Сергушин отыскал в этом полку много своих земляков.

— Землячков, землячков в городе — полно! То был я один, а сейчас весь Донбасс здесь! Коногоны, забойщики, откатчики кого только нет, — радостно говорил он, и нам было весело вместе с ним.

Ушел от нас Сергушин поздно, а уходя, позвал меня с собою.

— Проводи ты меня, коммерсант, до церкви! — попросил он.

Я пошел... и больше не вернулся. Тимофей уговорил меня поступить к красным.

В ту же ночь он устроил меня в Сумский полк. Его земляки-шахтеры сразу выдали мне обмундирование, карабин, саблю, а на рассвете почти всем полком мы ушли из города. Я даже не успел попрощаться с родными. Нас перебрасывали в другой уезд — добывать гайдамаков.

Еще все спали, даже лавки на базаре были закрыты, когда мы верхами гыезжали по Вроцлавской улице на Калиновский тракт и пели веселую песню:

Оружием на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей,
Шахтер за свободу вступает,
Разбивши купцов-богачей.

Что там скрывать — не сразу мне далась военная служба. После первого перехода от непривычки ездить верхом у меня так ломило ноги, что я едва ходил. Ведь до этого я никогда не сидел в настоящем кожаном седле.

Мне было трудно справляться с лошастью — я не знал, как надо правильно надевать седло, и однажды надел его шиворот-навыворот, передней лукой к хвосту. Тимофей учил меня всему: и как затягивать подпруги и как удобней, по ноге, опускать стремяна...

А вскоре под Тарнорудой мы уж с ним вместе так лупцовали гайдамаков, что с них чубы в Збруч летели!

Подались мы дальше, за Житомир, и тут прошел по фронту слух, что Петлюра, заменивший к этому времени гетмана, захватил со своими бандитами наш город.

Повернули мы обратно, на самого пана Петлюру, и когда вместе с конницей Котовского отбили город, я узнал, что никого из моих родных нет в живых. Маму, а потом отца с братом поубивали гайдамаки из отряда петлюровского генерала Омеляновича-Павленко. Гайдамаков этих, говорят, привел к нашему дому Марко Гржибовский, которого вы все знаете.

Недолго после этого пришлось мне оставаться в полку.

Меня и Сергушина, так как мы лучше остальных знали город, перевели в городской ревком. Я, вы помните, реквизировал оружие, а Сергушин перешел на работу в ревтрибунал. Он судил там саботажников, петлюровцев и тех жителей, которые тайно помогали Петлюре. Вот тут-то я и узнал, куда он уходил от нас по ночам.

Однажды ночью Сергушин познакомился в городе с одной дивчиной. Вы ее, наверное, и не знаете, — она жила далеко, возле самой станции; ее отец в пакгаузе на вокзале служит. Сейчас ее в городе нет, она ушла с красными. Как они разговорились, как познакомились, да еще ночью, я не знал. Знаю только, что эта дивчина много кое-чего интересного порассказала Сергушину о нашем городе. Ее мать стирала белье во многих богатых домах и знала, кто из буржуев помогал Петлюре. А дочка все это передавала Сергушину. И когда пришлось ему работать в ревтрибунале, он многое вспомнил из ее рассказов, и, видно, пригодилось это ему здорово. А в ту недобрую пору, когда надо было отступать, наши побоялись увозить Сергушина с собою: все знали, что он опасно болен. Я себе простить не могу, что не сумели мы отправить Тимофея вместе с красными...

Но с паном Григоренко, хлопчики, наши шляхи¹ еще сойдутся. Ой, да как еще сойдутся! Если бы вы только знали, скольких людей он уже выдал, этот лысый катюга!²

¹ Пути.

² Палач.



НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

— Дядя Давид, — первый нарушил молчание Маремуха, — а вы сами не боитесь, что вас поймут гайдамаки? Чего вы тут сидите? Удирайте в Жмеринку, верное слово!

— А что в Жмеринке? — улыбнулся Давид.

— Как что? Там же красные! — подсказал Куница.

— И в Петрограде тоже красные, — ответил Лейзерович, — так что же, по-вашему, я и туда должен бежать? Этак и ног нехватит. Уж лучше мы их подождем здесь. Верно, Мирон?

— Ладно, ладно, нам с тобой итти пора! — уклончиво сказал мой отец.

Теперь он сидел хмурый, печальный, ну такой, как всегда. Видно, ему здорово было жалко Сергушина. Помолчав, отец предложил:

— А не искупаться ли нам в речке?

— Конечно, выкупаемся! — согласился Давид. — Пока подойдут люди из Чернокозинец, у нас добрых часа два.

— А они к пещерам не могут сразу прийти? — спросил отец. — Придут — а мы ушли?

— Нет, нет. Я объяснил Прокопу. Он приведет их

к мельнице, — успокоил отца Давид и, обращаясь к нам, предложил: — Гайда купаться, хлопчики!

Целым отрядом мы спускаемся по оврагу к речке. Выйдя из лесу, мы подходим к мельничному саду. Он огорожен высоким плетнем из лозы. Стройные серебристые тополи растут в этом запущенном саду. Река здесь повернула влево, к мельнице помещика Тшилятковского.

Сквозь чашу сада слышен шум воды на мельничных колесах. Поскрипывают жернова в сером каменном здании мельницы. Ее стены видны сквозь просветы в деревьях. Там, в запруде около мельницы, мы будем купаться. Лучшего места для купанья не отыскать. Дно в запруде чистое, песчаное, вода течет спокойно, а берег гладкий, отлогий, усыпанный сухим, желтым песком. Эх, и купанемся же мы сейчас!

Но что это? Какой-то странный, дробный стук донесся к нам сверху. Похоже — кто-то колотит палкой по днищу пустого ведра. Захлебываясь, залаяли собаки, взволнованные этим непонятным звуком.

Неужели это барабан стучит там на горе?

Отец с Давидом замерли на месте. Они прислушались. Теперь было уже почти ясно, что это стучали в самый настоящий барабан — чуть приглушенно, но удивительно четко. И вслед за барабанным треском из-за невысокой горки вдруг выплыло желто-голубое петлюровское знамя.

— Гайдамаки! — бросил мой отец Давиду. Потом отец сразу наклонился ко мне и шепнул: — Вы нас тут не видели. Понятно? Оська остается с вами. Следите, куда они пойдут.

— Давай, Мирон, быстренько! — поторопил отца Давид.

И сразу, не успели мы еще сообразить в чем дело, отец и Давид перепрыгнули через плетень мельничного сада. Слышно, как зашуршал бурьян под их быстрыми ногами. А мы, покинутые, остались на дороге одни в тени высокого явора.

Яркое желто-голубое знамя плывет на нас с горы. Мы уже различаем идущего перед знаменем офицера. Вслед за ним под частую дробь барабана ровно шагают петлюровцы.

— Айда в сад! — решил Оська и подбежал к плетню. Теперь уже Оська — мой двоюродный брат — был командиром.

Друг за другом мы полезли на высокий, шаткий плетень. Он колыхался под нами. Казалось, вот-вот хрустнут тонкие, оплетенные лозой колья, и мы полетим на землю. Но все обошлось благополучно. Один за другим мы прыгнули с плетня в бурьян и присели на корточки. Через щели в плетне нам была хорошо видна пыльная проселочная дорога.

Барабан стучал совсем близко. Только первый отряд подошел к плетню, я, чуть не вскрикнув от неожиданности, толкнул под бок Куницу.

„Ну и чудак же мы! Да ведь это наши гимназические скауты. Ну, конечно, скауты! Они пришли сюда на маевку!“

Под золотой бахромой кошевого знамени, в парадной форме петлюровского есаула, расправив широкие плечи, впереди отряда шагает сам кошевой — Марко Гржибовский. На правом боку у него болтается маузер, а слева на тонком ремешке висит походный бинокль. Гржибовскому жарко. Его загоревший выпуклый лоб вспотел и лоснится. Даже на вздернутом носу проступили капельки пота.

После знаменосцев совсем близко около плетня звеньями по двенадцати человек идут скауты. Зеленые шляпы с широкими полями защищают их от солнца. В первых звеньях идут самые здоровенные. Многим из них уже лет по восемнадцати. Вся гимназия их дразнит „женихами“. Они учатся в самых последних классах. Скоро, говорят, Петлюра зачислит их офицерами в свою армию. Уже сейчас, вместо скаутских посохов, они носят на портупее тяжелые бегуты. Эти бегуты болтаются у них на боку в кожаных чехлах.

Правофланговым первого звена шагает Жорж Гальчевский, тот самый долговязый и худой попович, который высек Маремуху в городском саду. Увидев Гальчевского, я щипнул Петьку за ногу. Маремуха засопел сильнее.

На коротеньком древке Гальчевский несет квадратный звеньевой флажок. Он желто-голубой, как и кошевое знамя, только на шелковом полотнище у него нашита черная единица и силуэт оскаленной львиной пасти. Это первое скаутское звено „львят“, самое отчаянное, носит имя свирепого Болботуна, того самого петлюровского атамана Болботуна, который прославился по всему нашему краю грабежами и убийствами рабочих и крестьянской бедноты.

У скаутов-„болботунцев“ в карманах запрятаны тяжелые свинцовые кастеты и мелкий табак. „Львята“ не пропустят ни одного еврея, чтобы не закричать ему вдогонку:

— Христа распял! Христа распял!

Не одному еврейскому хлопцу они позасыпали табаком глаза. Недаром еврейские мальчишки убегают за три квартала, прослышав, что идут „болботуновцы“.

Вслед за „болботуновцами“ идут „барсуки“, „шакалы“, „пантеры“, „леопарды“, а уже за ними показываются „медвежата“, „филины“, „коршуны“ и другие скауты младших классов с длинными лакированными посохами на плечах.

Скауты должны любить и уважать животных. Вот поэтому-то их звенья названы именами самых отважных зверей и птиц. Звериные силуэты нашиты на каждом звеньевом флажке.

— Гляди, гляди — Григоренко, — шепчет Куница.

Ага, верно, и Котька с ними! Он идет впереди своих „удавов“. Черное туловище удава нашито на флажке звена, которое ведет Григоренко. Котькины желтые ботинки и коротенькие зеленые носки запылились. Задрав кверху голову, Григоренко смотрит на знамя, что развевается на ветру где-то далеко впереди всей скаутской колонны. Он проходит совсем рядом, — я вижу из засады его ботинки, шнурки на них. Паньч проклятый! Ох, попался бы мне в руки этот змеиный командир, я бы его, ябедника, проучил!

В звене Котьки Григоренко и наши зареченские ребята: длинный Володька Марценюк, конопатый Сашка Бобырь. На поясах у них блестят черные эмалированные котелки, а за спиной закреплены ремнями тугие походные сумки. У каждого скаута в такой сумке

хранятся завернутые в бумагу кусок свиного сала, картошка, соль, пшено, хлеб и деревянная ложка.

Раз они захватили с собой эмалированные котелки, — значит, где-нибудь в лесу, на полянке, они будут варить знаменитый запорожский кулеш, которым не раз у нас в классе хвастался Котька Григоренко.

У Сашки Бобыря к походной сумке привязана еще и зеленая брезентовая палатка. Он идет сутулясь. Его нагрузили, как верблюда. Палатка эта весит добрых десять фунтов. Под ней, в случае ночлега, должно разместиться все скаутское звено. Так сказано у них в „правах и обычаях“.

У речки, где дорога сворачивает вправо, Марко Гржибовский машет рукой барабанщику, чтобы тот замолчал. Барабанщик опускает вниз беленькие точеные палочки.

— Писню! — хрипло приказывает Марко Гржибовский, пятясь на носках к воде.

Скауты несколько секунд идут молча по каменистому берегу реки, но потом чей-то неуверенный, дрожащий голос в первых рядах затягивает знакомую песню. И когда хвост колонны подходит к реке, скауты поют уже все вместе:

Нам поможе святой Юрий
И пречиста маты
Славу здобуваты,
Ой, чи пан, чи пропав —
Вдруге не вмыраты...

Чем дальше уходят от нас скауты, тем тише становится их походная песня. Отдельных слов ее уж не разобрать, слышен только мотив — далекий, уплывающий к реке.

Оська быстро вскочил.

— Вот так штука, — сказал он. — Ведь эти гайдамацкие байстрюки могут полезть в Лисьи пещеры...

— А что в пещерах, Оська, что? — засуетился Маремуха.

— Не морочь голову! — строго огрызнулся мой брат и тотчас подбежал к стройному серебристому

тополю, который рос у самого плетня. Оська взобрался на плетень, а потом, обхватив руками и ногами бледно-зеленый ствол тополя, словно кошка, полез вверх. Слышно было, как скребла кору его жесткая домо-тканная рубашка.

На соседней вербе чернела куча черного хвоста — воронье гнездо. В нем покаркивали молодые воронята. Старые вороны заметили Оську. Они встревожились и, захлопав тугими крыльями, взвились с вербы. Вороны закружились над деревом. Они думали, что Оська полез отбирать у них птенцов. Через минуту целая стая черного воронья, назойливо каркая, летала над мельничным садом.

Оська был едва замечен нам с земли. Лишь кое-где сквозь серебристую мягкую листву просвечивала его белая рубашка.

— Василь! Слышь, Васька! — вдруг закричал он мне с верхушки тополя.

Карканье ворон заглушило его крик.

— Я тут. Лезть к тебе, да? — задрал голову, ответил я.

— Беги в село! Найди моего батьку, пусть скажет Давиду: они остановились у сломанного дуба!..

— А хлопцы? — сложив у рта лодочкой руки, закричал я.

— Пусть остаются тут... И ты сюда возвращайся. Скажи: они могут найти Лисьи пещеры. Быстро!

Я успел только шепнуть Петьке и Кунице: „Сидите тихо!“ а сам, стремглав перепрыгнув через плетень, взбивая босыми ногами нагретую солнцем пыль, побежал вверх, на гору, в село.

Около кладбища я столкнулся с Авксентием. Он был чем-то взволнован и, видно, не рад, что повстречал меня. У него в руках был желтый фанерный чемоданчик, а за плечами виднелся двухствольный дробовик.

— Куда ты бегал? Скажи Оксане, пусть разогреет тебе рыбу, — рассеянно бросил он и сразу же пошел дальше по направлению к Медной горе.

— Дядько, послушайте! — догоняя Авксентия, закричал я.

Дядька остановился. Тогда я рассказал ему, что видел отца и Давида, и передал слова Оськи.

— На мельницу побежали? — переспросил он. Подумав минуту, дядька тряхнул головой и сказал: — Ну ладно, я их побачу... Знаешь, Василь, сдается мне, гайдамаки удирают. Что-то больно их много на Калиновском шляху.

— Удирают? Правда? — чуть не подпрыгнул я от радости.

— А что ж, зимовать им тут, по-твоему? Хватит, попанували, — со злостью ответил дядька и, круто повернувшись, широким шагом пошел к Медной горе.

Я мигом повернул обратно.

Надо побыстрее вернуться к хлопцам. Вот будет здорово, если дядька не врет! Лишь бы красные прижали гайдамаков покрепче.

Одно мне непонятно: почему петлюровские скауты пришли сюда на маевку? Да еще вместе с Гржибовским. А может, они еще не знали, что Петлюра отступает? Наверное не знали!

— Удирают, удирают! — напевая себе под нос, мчался я к ребятам.

Маремуха и Куница лежали за кустами крапивы в мельничном саду. Заложив руки под голову, Юзик смотрел на верхушку тополя. Там виднелся Оська. Черные вороны, подозрительно вытянув шеи, покачивались на верхушках соседних деревьев и наблюдали за ним. Я перелез через плетень и закричал брату:

— Слезай!

Ребята вскочили.

— Ну как, нашел дядю? — спросил Маремуха.

— погоди, все расскажу! — ответил я важно.

Оська быстро спустился вниз. Он спрыгнул прямо в крапиву и подбежал ко мне, на бегу одергивая рубаху.

— А я что знаю, Оська! Слушай! — И я передал брату то, что сказал Авксентий.

— А-а-а, вот что! — сразу загорелся Оська. — Ну, тогда мы им покажем! Слушайте-ка, хлопцы, давайте нападём сейчас на этих панычей! Нельзя их пускать в Лисьи пещеры, они шкоды там наделают...

— Да ведь их много! Ведь они нас побьют! — заволновался Маремуха.

— А мы не одни будем, хлопцев сейчас покличем. Гайда в село! — скомандовал Оська.

Мы прибежали в село. Оська долго водил нас по кривым переулочкам, сзывая ребят. На его свист из-за плетней то и дело появлялись незнакомые нам хлопцы. Никого из них я не знал.

— Гайда панычей бить! Капелюхи отбирать у них! — приглашал Оська.

Хлопцы поняли брата с полуслова. Должно быть не раз собирались они вместе, затевали драки, уходили в лес. У них здесь привольно — не то что у нас в городе.

Когда вокруг нас собралась целая ватага, Оська приказал:

— А сейчас все по домам. Тащите известку да бутылки. И пробок побольше. Собираемся на кладбище, у братской могилы. Быстрой!

Хлопцы поспешно разбежались по домам.



БОЙ У СЛОМАННОГО ДУБА

Братская могила огорожена прочной железной решеткой. Здесь под высоким дубовым крестом похоронены двадцать пять нагорянских крестьян. Со всем недавно, в 1918 году, их расстрелял немецкий карательный отряд.

Это случилось вскоре после того, как немцы посадили на престол Украины гетмана Скоропадского.

Как-то к вечеру, после душного июльского дня, в Нагоряне неожиданно вошел отряд немецкой пехоты в серых стальных касках. Вскоре жители узнали, что немцы пришли отбирать лошадей. Крестьяне наотрез отказались явиться со своими лошадьми к церкви, куда сгонял их немецкий унтер. Тогда немецкие солдаты, сняв с плеч тяжелые винтовки с плоскими блестящими тесачами, стали насильно загонять крестьян на церковную площадь.

Немцы молча обходили двор за двором и выводили лошадей. Они не слушали, что говорил им хозяин, а просто давали ему в руки повод и приказывали вести лошадь, а если хозяин упрямился, — подгоняли его прикладом.

Пригнанных к церковной ограде лошадей сразу же принялся осматривать ветеринарный фельдшер, рыжий усатый немец в серой фуражке-бескозырке. А немецкие солдаты тут же нагревали на походном кузнечном горне черное квадратное клеймо.

Если лошадь нравилась фельдшеру, солдаты ставили ей раскаленное квадратное клеймо на бедро, около хвоста, и затем отводили к лейтенанту — худому сердитому офицеру в лакированной остроконечной каске. Лейтенант, морщась от запаха паленой шерсти, выдавал хозяевам длинненькие синие квитанции.

Вместе со всеми крестьянами на площадь немцы пригнали и Прокопа Декалюка — низенького молчаливого крестьянина, который жил около мельничной гати. К нему пришли как раз в ту минуту, когда он собирался выехать на поле за снопами. Когда немецкий фельдшер стал шупать на площади его коня, Прокоп не утерпел и дал фельдшеру такого тумака, что с того сразу бескозырка слетела. Немецкие солдаты подскочили к Декалюку и стали крутить ему руки. Прокоп закричал:

— Допоможить, хлопци!

На помощь ему подбежали соседи, и вскоре на широком зеленом выгоне около Нагорянской церкви разгорелся настоящий бой.

Озлобленные крестьяне не дали немцам опомниться. Они били их чем попало: кнутовищами, поводьями, наспех выдернутыми оглоблями.

Почуввав свободу, понеслись домой испуганные кони. Кто-то из крестьян разбил немецкому лейтенанту очки.

Придя в себя, немцы стали стрелять из винтовок и быстро разогнали крестьян по домам.

Всю ночь до самого утра в селе стояла небывалая тишина. Немцы ушли из Нагорян в неизвестном направлении, и многим казалось, что всё обошлось благополучно.

Но утром, только рассвело, в Нагоряне на откормленных конях въехал эскадрон немецких драгун. Драгуны тихо проехали по главной улице и остановились у церкви, где чернело посреди площади кузнечное горно.

Не успели драгуны спешиться, как жители стали

разбегаться из села. Но было поздно: немецкая пехота окружила Нагоряне со всех сторон.

Снова пригнали крестьян к церкви, но уж на этот раз без лошадей. Мужчин выстроили отдельно, в два ряда. Немецкий фельдшер, лейтенант, у которого были разбиты очки, и солдаты, медленно прохаживаясь между рядами, стали опознавать среди выстроенных по ранжу крестьян тех, кто расправлялся с ними вчера.

Отобрали двадцать пять человек, связали им руки и расстреляли тут же, на глазах у всех, под каменной стеной сельской церкви.

Долго стоял над церковной площадью страшный крик. Это, срывая с себя пестрые платки, голосили жены убитых, плакали их дети, рыдали их родственники. Они рвались к убитым, но напрасно: немецкие драгуны к самой церкви никого не подпускали. Прокоса Декалюка среди расстрелянных не было. Он скрылся из села тотчас после схватки с немцами, и долго о нем не было никаких вестей.

Немцы караулили убитых до поздней ночи. А когда над притихшим селом взошла полная луна, они погрузили трупы на свои обозные двуколки, отвезли через плотину на правый берег реки и там зарыли.

И только когда пришли красные, нагорянце похоронили своих односельчан по-настоящему — здесь, вот в этой братской могиле.

Высокая ея насыпь еще свежа и не поросла травой. На дубовом кресте раскаленным гвоздем выцарапана надпись:

*Тут спочивають
двадцать пять
селян-незаможників
які загинули
від руки проклятих ворогів
України —
німецьких окупантів*

Мы шли в глубь кладбища. Нас догоняли нагорянские ребята. Почти все они были в самодельных соломенных капелюхах, в домотканых полотняных рубахах, в таких же грубых штанах. Босоногие, загорелые, они прыгали по могилам и на ходу ловко со свистом

сшибали длинными кнутами целые ветви волчьих ягод, боярышника и калины. Некоторые захватили с собой туго сплетенные нагайки.

Мы подошли к братской могиле уже целой армией. Нас было человек двадцать.

— Хлопцы, слушайте-ка, — сказал Оська. — Видали, по селу прошли петлюровские паньчи? Ну да, с флагом. Они сейчас отдыхают под Медной горой. Давайте отлупим их как следует!

— Отлупить-то можно, а вот если они сдачи дадут? Их ведь сила! — почесал затылок низенький смуглый хлопец в рваном капелюхе. Вокруг руки он обмотал толстую, сплетеную из белых кусочков сыромятной кожи нагайку.

Оська хитро улыбнулся.

— Сила! — передразнил он. — Сила! А у тебя уже уши трясутся? Не бойся, мы поделаем бомбы и с бомбами на них! А ну, кто что принес, показывайте!

Хлопцы выложили старые пробки, запыленные водочные бутылки с цветными этикетками, белую известь. Извести принесли много — она есть в любой украинской хате.

Оська расхаживал среди хлопцев словно на базаре. Те показывали свои припасы, а Оська перебирал их, водил носом, иногда хмурился.

— У кого негашеная известь, — сыпьте прямо в бутылки, — скомандовал он.

— А у меня гашеная, — вышел вперед худощавый хлопец и показал Оське целый мешочек белой толченой извести.

— Выбрось, — строго приказал Оська. — Гашеная нам не нужна. Глядите, хлопцы, только негашеной засыпайте, и чтоб бутылки сухие были. Понятно?

— А если паутина в бутылке? — спросил кто-то.

— Насыпай. Лишь бы не вода, а то враз разорвет, — объяснил Оська.

Рассевшись на могилах, хлопцы молча стали засыпать известью грязные бутылки. Известь сыпалась на колени, в траву. Торопясь, хлопцы протыкали крупные комки кто палочкой, кто рукояткой рогатки, а кто и просто пальцами.

У нас было только одно шило — в моем перочин-

ном ноже. Мы поочередно просверлили этим шилом дырочки в заткнутых пробках. Оська роздал нам наспех выстроганные, похожие на зубочистки гусиные перышки, и мы просунули их в пробки.

— Слушай, Оська, а ведь выпрет пробку, — не решительно сказал Маремуха.

— А мы сейчас их проволокой прикрутим, — успокоил Маремуху Оська и крикнул сыну Прокопа Декалюка — низенькому смуглому хлопцу в рваном капелюхе:

— Михась! Беги-ка на тот край кладбища, знаешь — там над могилой попа Симашкевича жестяной венок висит. Нащидай-ка из него проволоки. Или нет... тащи-ка весь венок сюда!

Минуты через две Михась Декалюк возвратился, волоча по зеленым могилам тяжелый, с посеребренными листьями венок. Каждый листочек был примотан к железному ободу венка тонкой и мягкой проволокой.

Сразу же всей компанией мы стали потрошить венок. Серебряные листочки дрожали под нашими быстрыми пальцами и один за другим падали в густую траву.

Прошло несколько минут, и от венка остался только голый, ободранный обод, а листья, украшавшие его раньше, валялись вокруг на могилах.

Оська показал нам, как ловчей и крепче закрепить пробки, и мы примотали каждую пробку проволокой к горлышку бутылки.

Наконец, когда все приготовления были закончены, Оська скомандовал:

— А ну, швыдче!¹

К скаутам мы подбираемся с правого берега реки по густым, скрывающим нас от чужого глаза кустарникам. Оська послал вперед на разведку двоих ребят. Только мы подошли к повороту реки — разведчики замахали нам руками.

Перед нами, на другом берегу, открылся скаутский лагерь.

¹ Быстрее.

На большой лужайке у сломанного дуба скауты натянули зеленые брезентовые палатки. Между палатками разложены костры. Собранный в лесу прошлогодний хворост горит ярко. Дым густо клубится над кострами, подкуривая подвешенные над огнем австрийские котелки. В них варится вкусный запорожский кулеш из пшена, сала и картошки.

Вся лужайка освещена солнцем. А наш берег уже в тени. Мы запрятались под кустами возле брода; нас совсем не видно скаутам, хотя мы находимся очень близко от скаутского лагеря.

Некоторые скауты расхаживают возле костров: прямо из котелков над кострами они пробуют, сварился ли кулеш. Другие уже едят его, сидя на мягкой траве у туго натянутых палаток.

Должно быть это очень вкусно — есть кулеш, сидя на траве, прямо из стоящего перед тобой задымленного горячего котелка. Пар бьет тебе в нос, ложка обжигает губы, но ты, закусывая ржаным хлебом, храбро глотаешь горячий кулеш, чуть солоноватый, жирный.

У нашей братвы слюнки текут от этого зрелища, мы бы с удовольствием и сами отведали скаутского варева.

Пообедав, скауты собрались у кошевого знамени. Свернутое на древке, оно воткнуто в землю вблизи сломанного дуба. Вокруг знамени, с деревянным посохом на плече, медленно расхаживает часовой. Из кустов, которые начинались сразу же за сломанным дубом, вышел Марко Гржибовский. Он объяснил что-то скаутам, и мы увидели, как большая их группа — самые рослые — пошла за Гржибовским. Остальные чего-то ждут.

„Наверное скауты затевают игру в сыщика и вора“, решил я и обрадовался, что Гржибовский ушел из лагеря, захватив с собою маузер. Его скауты со своими посохами да кинжалами не так страшны. Но что, если они, скауты-воры, вздумают запрятаться в Лисьих пещерах?

— Хлопцы, слушайте, — тихо подозвал нас Оська. Мы подползли к нему вплотную.

— Вот он и ты, Федька, — сказал Оська, показывая пальцами на двух нагорянских ребят, — возьмите заку-

поренные бутылки; как только мы перейдем речку, вы проберитесь по берегу к тому месту, где пенек торчит. Видите? Ну да, под кустом. Тихонечко опустите в воду все бутылки. Только не все вместе — одну здесь, другую рядышком, а то побьются.

Потом Оська обратился к хлопцам, которые звались кидать бутылки „с руки“:

— Баночки для воды не потеряли?

Куница показал Оське белую консервную банку, долговязый хлопец — зеленую с отбитым горлышком бутылку, а Михась Декалюк протянул Оське небольшой глиняный горшок.

— А сам я наберу сюда, — сказал Оська, размахивая ржавым солдатским котелком. — Закатайте штаны!

Мы все стали подвертывать выше колен штаны. Оставшиеся у сломанного дуба скауты все еще ничего не подозревали: они смотрели в ту сторону, куда ушел со своей группой Гржибовский.

Неожиданно сверху, с горы, послышался свисток. Должно быть это сигнал кошевого. Ага, так и есть! Человек двадцать скаутов, те, кому выпало быть ворами, обгоняя друг друга, побежали в лес. Те, что остались у палаток, видно, не собираются покидать лагерь. Они сидят у знамени и разговаривают.

— Гайда, хлопцы! — позвал нас Оська.

Один за другим, легко раздвигая кустарники, мы спустились к речке и вошли в холодную воду.

Согнувшись, почти касаясь руками воды, мы перешли речку вброд шагах в пятидесяти ниже сломанного дуба. Дно здесь было каменистое, голыши скользкие, покрытые зеленой тиной и грязью. Ноги разъезжались, а тут еще быстрая вода толкала, сносила вниз.

Возле самого берега Оська, Куница, Михась Декалюк и долговязый хлопец зачерпнули в свои посудины воду.

Выскочив первым на берег, Оська отослал хлопцев утопить близ скаутского лагеря закупоренные бутылки.

Хлопцы убежали. Мне показалось, что у них в руках самые настоящие бомбы.

...Мы ждем их возвращения, переминаясь с ноги на ногу. Стоять на берегу очень неприятно. Каждую

минуту нас могут заметить скауты: ведь мы у них под самым носом.

Хлопцы возвращаются обратно бегом. Еще издали они кивают головами. Готово! Вот-вот грохнет взрыв. Мы быстро подползаем к сломанному дубу.

Ох, как колотится от нетерпения сердце! Поскорее бы выбежать на эту проклятую лужайку да закричать, да броситься врукопашную.

Коричневый, на половину сгнивший ствол сломанного дуба виден сквозь кусты. Слышно, как разговаривают на лужайке скауты.

— Наливай, — приказал Кунице Оська.

Я посторонился: как бы в руках Куницы не разорвало бутылку. Рядом со мной из глиняного горшочка лил воду в бутылку низенький смуглый Михась. Руки у него дрожали, вода то и дело брызгала на траву, и лишь половина ее, булькая, попадала в горлышко, растворяя задымившуюся уже известку.

Хлопцы быстренько заткнули мокрые бутылки пробками.

— Кидай и бежим! — прошептал Оська, и в эту же секунду за сломанным дубом, в реке, гулко, как настоящая бомба, разорвалась первая из потопленных бутылок.

Из-за кустов нам видно, как сразу забежали, засуетились на поляне голоногие скауты.

— Ур-а-а-а! — хрипло закричал Оська и швырнул прямо на зеленые палатки свою бутылку. Вдогонку летят и остальные. Куница, молодец, закинул свою дальше всех.

Бутылки падают на поляну и тотчас же одна за другой — не успевают скауты понять, в чем дело, — оглушительно рвутся. Брызгами разлетается мокрая, горячая известь.

Мы тоже кричим „ура“. Звонящий, пронзительный крик наш разносится над рекой. Мы опрокидываем на лету палатки и, скользя по мягкой траве поляны, подбегаем к скаутам. Я неожиданно столкнулся лицом к лицу с Котькой Григоренко. На щеке у него белеет известь. Видно, осколок нашей бомбы не миновал Котьку.

Достанется же тебе сейчас, змеинный командир! С разбегу одним ударом кулака я швыряю его на

палатку. Колышки захрустели, палатка мякнет, и Котька падает на землю. Он отбрыкивается ногами. Он хочет ударить меня носком ботинка в живот, но я изворачиваюсь и, сорвав с него шляпу, бегу дальше.

Мы забрасываем в кусты легкие скаутские посохи, сбиваем на ходу котелки, — кулеш с шипеньем льется в не успевшие погаснуть костры.

— Флаги хватай, флаги! — хрипло закричал Оська, размахивая маленьким звеньевым флажком с львиной пастью посередине.

А у сломанного дуба идет жаркая схватка за кошевое знамя. Два дюжих „болботуновца“, с кинжалами на поясах, тянут его к себе. Они уцепились за древко знамени и пытаются назад, в кусты. Несколько хлопцев насаждают на этих рослых скаутов. Они тузят их кулаками, стегают нагайками. С ними вместе и низенький Маремуха. Он вертится под ногами у скаутов, бьет их головой в живот, щиплет за ляжки. Кто-то из хлопцев, — кажется, Михась Декалюк, — прыгнул одному скауту на шею и дергает его за волосы.

В это время в реке запоздало рвутся одна за другой еще две бутылки. Звук разрыва настолько силен, что кажется, будто с того берега палят из настоящих пушек.

Один из взрослых скаутов, растерявшись, опустил древко знамени и бросился в кусты. Другой, потеряв равновесие, полетел на землю, а Михась Декалюк кубарем перекатился через него.

Древко треснуло и сломалось. Золотая бахрома отодралась от шелкового полотнища. Хлопцы кучей навалились на упавшего скаута. Они тузят его под бока, а он вертится вьюном на растерзанном знамени, но подняться не может.

В эту минуту к хлопцам подбежал Куница. Изловчившись, он одним рывком выдернул из-под скаута обломок древка с изодранным знаменем и побежал к реке.

И сразу же наших хлопцев как не бывало.

— Удирай! Удирай! Догоняют! — закричал вдогонку Кунице Оська, заметив, что следом за Юзиком пустились двое „удавов“.

Вот чудачки, кого догнать захотели! Все равно теперь знамя наше. И мы помчались вслед за Куницей.

А вверху, на горе, скауты уже засвистели во-всю. Слышно, как хрустит хворост. Кто-то, — наверное, сам Марко Гржибовский, — пальнул из револьвера. Видно, скауты, почуяв недоброе в лагере, несутся сюда.

Не оглядываясь, мы рванулись через кусты, крепко сжимая в руках трофеи — скомканные скаутские шляпы, обломки посохов, звеньевые флажки.

Я не заметил даже, как мы перебежали обратно брод, как кто-то поскользнулся и обдал бегущих брызгами воды. Скауты всё еще пересвистывались под горой и на поляне около сломанного дуба.

Преследуемые этими свистками, мы мчимся все быстрее. В ушах еще отдаются скаутские крики, а перед глазами мелькают их испуганные лица, смятые палатки, погасшие костры.

Надо удирать что есть духу, пока они не успели опомниться.

Мы несемся, точно вперегонки, по узенькой лесной тропинке, задевая локтями ветки кустарника, обламывая сухой валежник. Останавливаемся только за Барсучьим холмом, когда уже нет сил бежать дальше, когда у каждого захватило дыхание и рубашки на спинах взмокли.

За Барсучьим холмом тихо, свежо и спокойно. Хлопцы отдышались и поснимали капелюхи. Они обмахиваются ими — жарко. Оська расстегнул ворот своей рубашки. Его разгоряченную грудь освежает лесной прохладный воздух.

— Ох, и дал я этому панычу! Всю чуприну¹ ему повывдрал, — сказал Михась, отирая смуглой ладонью лоб.

— А вы видели, как я того, здорового, за ногу укусил? Когда б не я, он никогда знамя не отдал бы! — выкрикнул Маремуха.

— Что ты хвастаешься? Если бы не Куница, знамя осталось бы у них, — ввязался и я в разговор. Мне хотелось сбить Петьке гонор. Верно, он воевал неплохо, но пусть не очень-то задается.

¹ Чуб.

— Будет, хлопцы, не ссорьтесь. Все воевали добре, — сказал Оська. — Скажите-ка вот лучше, где нам флаги попрятать, а?

И в самом деле, куда девать флаги? Вот эти маленькие, со звериными и птичьими головами, можно запихнуть хоть за пазуху, а что с кошевым знаменем делать? Ведь оно широкое, хоть стол застилай. Итти со знаменем в село никак нельзя. А вдруг мы напоремся на какого-нибудь гайдамака? Раздумывать много нельзя. Ведь из лесу вот-вот могут выскочить с острыми бедунами в руках взрослые скауты. Надо быстрее прятать знамя и убегать в село. Там скауты не отважатся драться с нами. Они знают, что в Нагорянах не очень-то любят Петлюру.

Но где все-таки спрятать знамя?

— Давайте заховаем его в березовой роще, — предложил Оська.

В самом деле! Ведь никому и в голову не придет искать знамя там.

По узенькой меже, разделяющей два пшеничных поля, мы пошли вперед, в березовую рощу. Мы давим ногами голубые васильки, дикие, чуть распустившиеся маки, лиловый куколь. Межа густо заросла цветами и сорной травой. А вокруг, по обеим сторонам межи, колышется от ветра еще не окрепшая, но уже густая и высокая пшеница, — пробежит потем ветер, и уходит по ее колосьям едва заметная, неслышная зыбь.

В березовой роще совсем прохладно. Она раскинулась на пригорке, и ее обдувает со всех сторон ветер. Чуть слышно покачиваются ровные, стройные березы. В кустарнике заливается черноголовый жулан-сорокопут. Он поет громко, взволнованно, не слыша наших шагов.

Мы спустились в ложину, к ручейку. У самого берега Куница стал на колени. Под корнями старой березы он обеими руками стал рыть яму. Земля здесь рыхлая, влажная, перемешанная с глиной, — копать Юзику легко.

— Довольно! — скомандовал Оська и сунул в яму свернутое полотнище кошевого знамени.

Яма закопана. Теперь можно и по домам.

Когда мы шли в село, где-то далеко прокатился глухой раскат грома.

— Будет гроза, — заметил рыжий долговязый хлопец.

— Ну, выдумал, — удивился Маремуха. — Погляди, небо какое чистое.

— Это не гром, это красные стреляют, — уверенно сказал я.

— Откуда красные? Это гром, — повторил рыжий хлопец. — Вы, городские, небось, никогда не слышали настоящего грома. Вот увидите, будет дождь. Слышь, как вороны закаркали. Это к дождю.

Я промолчал. Пусть думает, что это гром. Поглядим, кто из нас будет прав.

Мы подходим к селу. Уже вечереет.

Коровы возвратились с пастбища и, вытягивая шеи, мычат около ворот. Хозяйки пускают их во двор и начинают доить. Слышно, как за плетнями то в одном, то в другом дворе молоко, точно дождь, стучит в донышки широких цинковых ведер.

Почуяв вечер, уже суетятся, укладываясь спать, полусонные куры.

Как незаметно подошли сумерки!

Оська велит хлопцам собраться завтра после полудня в березовой роще.

— Будем делить добычу, — говорит он важно.

Хлопцы расходятся по хатам. Один из них вытащил из кармана скаутскую ковбойскую шляпу и, сняв соломенный капелюх, с опаской оглядываясь по сторонам, надел ее на голову. Я поглядел ему вслед. Сделав два шага, хлопец чего то испугался, снял шляпу и опять засунул ее в карман. Трус. Как Маремуха. А я вот свою надену, и никто мне ничего не сделает. Я смело надел Котькину шляпу — она чуть велика мне — и пошел за ребятами.

Но Оська увидел это и сразу насупился.

— Сними! — приказал он.

Ну и сниму. Мне не жалко...

Вчетвером мы зашли в Оськин двор. Удилище и сетка Петьки Маремухи попрежнему стояли под крыльцом. Оськина мать, Оксана, сидела на завалинке и, сжав коленями макитру, лущила в нее прошлогод-

нюю кукурузу. Она терла один початок о другой. Золотистые зерна кукурузы глухо падали в большую, глазурию раскрашенную макитру.

Авксентий, одетый в домотканую коричневую коротайку, стоял тут же. За плечами у него все еще виднелся двухствольный дробовик. Он собрался уходить.

Увидев нас, он спросил:

— Где были, хлопцы?

— Мы панычей городских лупили, тато, — ответил Оська, вынимая из-за пазухи петлюровский флажок. — Ох, и дали им перцу!

— Каких панычей? Тех, что с барабаном? Юнкеров ихних?

— Ну да, ну да, — запрыгал Маремуха, — юнкеров. Мы им палатки оборвали, все чисто, шляпы забрали, — вон у Василия шляпа есть. Покажи, Василь, шляпу.

— А где вы били юнкеров? — спросил Авксентий.

— Под Медной горой, около речки, — сказал Оська, хвастливо размахивая скаутским флажком.

— Они не юнкера. Они скауты. Юнкера — те в юнацких школах обучаются, а это гимназисты, — хмуро поправил дядьку Куница, но тот, не расслышав, сказал:

— Значит, это вы пальбу там подняли? А я голову ломал: отчего такой переполох? Из чего же вы стреляли? Я никак не мог разобрать... Не то обрезы, не то бутылочные бомбы...

— Ага, ага, бутылочные бомбы, — хитро улыбнулся Оська.

— Бутылочные бомбы... Врешь. Откуда они у вас? Где вы их достали?

— Да не достали, сделали — объяснил я Авксентию.

— Верное слово, сделали, — подхватил Оська. — Насыпали извести в бутылки, — вот и бомбы. А как скауты удирали, тато! Кто в кусты, кто куда. Они думали — то настоящие бомбы. Мы у них там всё порасшвыряли, верно, Куница...

— А кто велел тебе нападать на них? — вдруг сурово перебил Оську дядя.

— А мы сами... — начал Оська.

— „Сами, сами“. А ты знаешь, как вы могли нашкодить? Хорошо, хлопцы успели повытаскать всё

оружие из пещеры, а то довелось бы расхлебывать вашу кашу.

— Они ж за Петлюру!— удивленный словами дядьки, сказал Маремуха.

— Ну и что ж? А за них могли и нас похватать. Пускай бы шли своей дорогой.

— Не похвалят! Красные ведь близко, — ответил я дядьке. — Вы же сами сказали!

— Кто его знает, — неуверенно сказал дядька, — то все бежали в город, а вот недавно через село на Жмеринку опять проскакало шестеро гайдамаков. Я сейчас пойду, сам побачу, как там, на шляху, а вы здесь остороженько...

— А мы с вами пойдем, а, дядя? — попросил я Авксентия.

— Э, нет, на шляху теперь беспокойно, а мне еще Мирона захватить надо. Заходите в хату, повечеряйте, — и в клуню. Оксана, дай-ка хлопцам борща да вареников, — сказал дядька на прощанье жене и ушел по направлению к Калиновскому тракту.

После ужина, когда мы переходили из хаты в клуню, я увидел, как по небу к Нагорьянам подползали густые багровые тучи. Неужто тот рыжий хлопец правду сказал, что будет дождь?

Так и случилось.



МЫ ПОКИДАЕМ СЕЛО

Ночью в самом деле пошел дождь. Удар тяжелого грома разбудил нас. Через распахнутые двери клуни было видно, как вспыхивала в саду молния, освещающая влажные листья яблонь и слив.

С кладбища сразу потянуло сыростью. Зарывшись в сухое сено, я слышал, как сильный ливень хлестал по склоненной листве, как крупные дождевые капли, падая наземь, задевали листочки кустарника, молодую завязь плодов на фруктовых деревьях и обвитый повиликой сгорбленный плетень усадьбы Авксентия.

И в этом ночном дожде, и в молнии, то и дело поджигающей зеленовато-синим пламенем густое, черное небо, и в тяжелых ударах страшного ночного грома, сотрясающего мокрую землю, было одновременно что-то жуткое и веселое.

Разбуженный ночной грозой, я долго не мог заснуть. Я вспоминал, что случилось за последний день, и было мне от этого радостно и чуть-чуть тревожно.

Теперь, думал я, обязательно должны прийти красные. Если они не придут, мы пропали. Ни Котька Григоренко, ни его приятели-скауты не спустят нам вчерашней схватки.

Каково-то им сейчас на полянке у сломанного дуба? Вряд ли они успели уйти оттуда. Намочит же их ливень! Колышки палаток сломаны, брезентовые полотнища обляпаны известкой и разбросаны, — мы здорово разорили скаутский лагерь, укрыться им негде.

А Марко Гржибовский? Вот бесится, небось, что мы у него знамя уперли. Не удалось Гржибовскому обучить скаутов, как надо одной спичкой разжигать костер, не смогли они доиграть до конца в сыщиков-разбойников, не поели свои кулеш. Не спас их ни святой Юлий, ни богородица. Зря они пели свою хвастливую песню.

Поливай их дождь сильнее, крепче, пусть на всю жизнь запомнится им эта маевка!

А вот мне да похрапывающим рядом Кунице, Оське и Маремухе — хорошо. Никакой ливень не прошибет эту плотную, крепко сшитую соломенную крышу. Под нами чуть колющее, пахнущее лесными полянами и ромашкой, давно скошенное сено.

Кусачие былинки щекочат уши и щеки, залезают в нос, но я лениво отстраняю их и, прижавшись к мягкому, толстенькому Маремухе, обняв его левой рукой, усталый и довольный, крепко засыпаю под этот радостный, теплый дождь.

Просыпаемся мы поздно.

Тихое утро стоит в саду. Двор за плетнем уж весь освещен солнцем. Через открытую дверь клуни видно, как посвежела еще ярче и зазеленела листва на деревьях. Покрытая глазурью макитра блестит на плетне.

— Вставай, Петро! — толкнул я под бок Маремуху. А он еще глубже зарылся головой в сено. Этот корытщик любит спать.

Я пощекотал Маремуху под мышками, и тогда он вскочил на колени так быстро, что все сено в клуне зашевелилось.

— Вставай, вставай! Сплюх.

А он, словно на морозе, стал быстро обеими ладонями растирать свои розовые уши.

— А знамя-то наше промокло, слышал какой дождь ночью был? — потягиваясь со сна, сказал Оська.

— Не промокло, я его под корнями зарыл, — успокоил брата Куница и, схватившись за балку, как

на турнике, поднялся вверх. Оттуда, из-под стропил, посыпалась мелкая труха.

Во дворе громко заговорила с кем-то Оксана.

Мы вышли к ней во двор и поздоровались. Какая-то пожилая, сморщенная женщина сразу же ушла, а Оксана тихо пожаловалась нам, что в селе „ой как беспокойно“. Только и разговоров, что красные близко. Еще на рассвете селяне тайком от старосты угнали своих лошадей за Медную гору. Они боятся, что лошадей могут реквизируют для эвакуации в Польшу гайдамаки. Поговаривают, что еще ночью петлюровские разъезды отняли всех коней в Островчанах.

— Лихо мне с чоловіком,¹ — сказала Оксана, — ушел, слова не сказал, хозяйство оставил, а я сама тут за всё отвечаю. Хотела запрятать в погреб кабаника, а он вырвался и упал, лежит на глине и кричит. Наверное вывихнул ногу, а я чем виновата?

Она говорила с нами так, словно мы были приятели Авксентия. Мы с сочувствием слушали ее жалобы, а сами думали: что же нам делать? Кабанчик кабаником, а вот как нам быть?

Ведь тут сейчас неинтересно. Авксентий хитрый. Ушел потихоньку и оставил нас. А вдруг да где-нибудь под городом уж начинается бой? А здесь ничего не увидишь. Но мы не маленькие. Мы сами знаем дорогу обратно.

Рассуждать было нечего, и мы решили вернуться в город.

— Пойдем с нами, Оська, — предложил я и брату, но Оксана строго закричала:

— Никуда он не пойдет! Не смей ходить! Тато велел ему оставаться дома. Сиди здесь, Оська, хоть ты поможешь по хозяйству.

Оська кисло сморщился, но послушаться приказа Оксаны не посмел.

Делать нечего. Пойдем одни. А жаль!

Мы попрощались с Оксаной, крепко пожали руку Оське и отправились в путь.

Лесной дорогой мы пошли в город.

¹ Беда мне с мужем.

Хорошо в лесу после дождя!

Простые лесные цветы пахнут особенно сильно. У дороги, где стелется барвинок, выглядывают из-под кустов синенькие колокольчики, лесные фиалки, иванда-марья. В розовых цветках шиповника жужжат пчелы. А как здорово поют где-то вверху на деревьях невидимые снизу птицы. Весь лес дрожит от их свободного звящего пенья.

На серой осине глухо трижды прокуковала кукушка — и затихла, должно быть услышав наши шаги. Мы шли по влажной тенистой дороге, то и дело пересекаемой обнаженными корнями деревьев. Мы перепрыгивали через лужи, ноги скользили и разъезжались в стороны.

Около березовой рощи я вспомнил, что Оська уговаривался сегодня после полудня со здешними ребятами делить кошевое знамя. Ведь мы имеем право тоже получить по куску этой добычи, отнятой у наших врагов.

— Возьмем, хлопцы, свою долю? — кивнул я на лошину.

— А ну его, пускай Оська пользуется. Куда оно нам? — отмахнулся Куница.

— Возьмем, возьмем! Даром, что ли, дрались! — запрыгал Маремуха.

Ага, большинство на моей стороне. Мы сворачиваем к ручейку. Маремуха, точно собака, разрывает обеими руками землю. Я вытащил знамя из-под березовой коряги и стряхнул с него липкую глину. А все-таки дождь промочил знамя. Шелк намок и почернел. Ну, как же теперь его делить? Нас было человек двадцать, — если разрезать знамя на двадцать равных кусочков, каждый получит по небольшому, величиной с носовой платок, куску шелка. А ведь нагорянские хлопцы похватили те куцые звеньевые знамена. Если бы не Куница, — кто знает, — это широкое кошевое знамя могло остаться у скаутов. Мы имеем полное право взять себе больше, чем остальные. А что, если разделить знамя пополам? Тогда у нас будет длинная шелковая полоса одного цвета. Недолго думая, я достал из кармана перочинный ножик и, сунув Маремухе край знамени, натянул свой конец и разрезал

знамя пополам. Потом оторвал руками остатки бахромы и подал желтое полотнище Маремухе.

— А теперь как поделишь? Кусок желтого и кусок голубого? Надо было иначе, эх ты! — покачал головой Куница.

— Зачем делить? Мы возьмем себе половину, вот и все, — успокоил я Куницу.

— Но ведь нас трое!

Ишь как запел! Минуту назад фыркал — „не надо“, а теперь глаза разгорелись.

— А мы жеребок бросим. Кто вытянет, тот получит весь кусок. Из него сорочка выйдет или скатерть. А платки-то нам зачем? Что мы, девочки?

Куница задумался, а Петька Маремуха сразу перешел на мою сторону.

— Давай, — закричал он, — желтое им оставим, голубое себе возьмем! А я загадаю. На палочки или на камешки?

— Ну иди, загадывай... На палочки... — подумав и тряхнув головой, милостиво разрешил Куница.

Скомкав желтую полосу шелка, Петька засунул ее обратно в ямку под старой березой. Потом он убежал в кусты и возвратился оттуда с зажатými в кулаке тремя палочками.

— Самая коротенькая — знамя! — объявил он.

Я потащил жребий первым. Маремуха боялся, что мы подсмотрим, и так зажал палочки, что приходилось вытаскивать их с силой.

„Интересно, кому же достанется шелк?“ подумал я, разглядывая мою палочку. Кончики ее Петька обкусал зубами.

Вытащив жеребок вслед за мной, Куница потребовал:

— Покажи!

Петька раскрыл потную ладонь. Мы уложили на ней рядышком свои палочки, и оказалось, что самая коротенькая досталась Кунице.

— Получай, — не без сожаления отдал я ему мокрую полосу шелка.

Маремуха грустными глазами следил за тем, как Юзик, словно мокрое белье, выжал полотнище и засунул его себе за пазуху. Щелкнув языком, Куница

весело полез по откосу лошины вверх, а мы, неудачники, вслед за ним.

Когда мы перевалили через Барсучий холм, я увидел на другой стороне реки ту самую поляну, где мы вчера дрались с петлюровскими панычами.

Поляна была пуста. Только выжженные кострами черные лысины, истоптанная трава да белые лужи известки напоминали о вчерашней схватке, о неудачном бивуаке скаутов. Когда только они, интересно, выбрались отсюда?



БЕГСТВО

Шумный Калиновский шлях пролегает где-то в стороне. До самого города Куница ведет нас напрямик по заросшим полынью межам; мы минуем засеянные низенькой густой гречихой поля и одну за другой пересекаем поросшие травой, безлюдные проселочные дороги.

— Сколько времени мы уже идем, так и до вечера домой не доберемся, — едва поспевая за Куницей, ворчит уставший, измученный Маремуха.

Бедному Петрусью сегодня досталось. Шутка ли сказать, мы прошли так много и ни разу еще не отдыхали.

— Ладно, Петро, не журысь, — сказал Куница, — у кладбища отдохнем. Давай быстрее.

— Юзик, кладбище, кажется, скоро? Да? — не вытерпел я.

— Скоро, скоро. Видишь, липа на бугре покосилась? За ней и кладбище.

Юзик прав. Только мы поднялись на бугор, как сразу вдаль зазеленели яворы кладбищенского сада. За ними белеет наш город.

На холмике у кладбища мы делаем привал. Хорошо после длинной дороги улечься на мягкой траве, под высоким тенистым явором и слушать, как где-то около самого уха в розовых цветах клевера жужжат шмели.

Но нам сейчас не до шмелей.

Налево, за тюремными огородами, пересекая зеленые поля, тянется от города до самого горизонта

белая полоска дороги. Она то идет прямая, ровная, то, встречая на своем пути зеленые курганы, петлит вокруг них причудливыми зигзагами, то пропадает совсем в темной чаще леса, то, вырвавшись из него, снова вьется по сенокосам, баштанам, полям — узенькая белая полоска покрытого мелким камнем шоссе. Это и есть Калиновский шлях — главный путь из нашего города на север.

Серая дорожная пыль клубится сейчас вдоль телеграфных столбов: в город одна за другой мчатся подводы, тачанки, экипажи. Их грохот доносится сюда через огороды и маленькую рощицу, отделяющие нас от Калиновского шляха.

Кто, интересно, это едет — уже красные или все еще гайдамаки?

— Давай пошли! — поднял нас Куница.

Мы не посидели и двух минут, но тотчас вскакиваем и пускаемся дальше. Хорошо утоптанная тропиночка ведет нас в город.

Миновали кладбище. Уже маячат вдаль, на Житомирской, верхушки стройных серебристых тополей.

Вдруг Куница, прыгнув через канаву, круто повернул на Тюремную улицу.

— Куда ты, Юзька? — окликнул я его.

— Давай, давай! — торопит Куница.

Повинуясь ему, мы вбегаем на мостовую этой окраинной улицы.

Вот и тюрьма — огромное каменное здание, обнесенное с четырех сторон высоким кирпичным забором.

— Ох ты! — крикнув от неожиданности, сразу присел Маремуха.

За тюремной оградой зазвенело разбитое стекло.

— Окна бьют, — тихо сказал Куница, присев около меня на корточки.

И в эту самую минуту в каких-нибудь пятидесяти шагах от нас медленно распахнулись широкие, окованные железом тюремные ворота. Оттуда один за другим на тюремную площадь выскочило пятеро гайдамаков в черных коротких жупанах. Выбежали. Остановились. Вот первый из них, самый высокий, махнул рукой на кладбище. Мигом, вытянув винтовки, гайдамаки перебегают улицу. Они перепрыгнули через

кладбищенскую ограду и пропали среди мраморных крестов. Чуть шевельнулись и сразу же затихли густые кусты жимолости. С чьей-то могилы, из-за кустов, выглядывает мраморный ширококрылый ангел — точно стережет исчезнувших гайдамаков.

— Посмотри, посмотри! — приподнимаясь, прошептал Куница.

Из самой крайней левой решетки верхнего этажа тюрьмы, пробив стекла, со звоном вылетел красный продолговатый кирпич. И вслед за этим то из одного, то из другого окна, словно по чьей-то команде, падают и разлетаются вдребезги грязные, запыленные оконные стекла.

Арестанты повисли на решетках. Они машут руками, что-то кричат, а что — непонятно. А вон в окне второго этажа около водосточной трубы закружилась белая известковая пыль. Ого! Из камеры по железной решетке бьют какой-то тяжелой калабашкой. Глухие нетерпеливые удары разносятся на всю тюрьму. Еще немного — и выломают решетку.

Но с Куницей разве досмотришь?

— Гайда, хлопцы! — торопит он нас.

Нехотя мы побежали вслед за ним дальше по Тюремной. Я бегу и оглядываюсь. Интересно бы посмотреть, как арестанты, выломав решетку, будут убегать из тюрьмы. Куница заметил, что мы отстали, и закричал:

— Давай быстрее, а то палить начнут!

Мы поддали ходу. Пожалуй, Куница прав. Ведь каждую минуту гайдамаки могут открыть огонь по взбунтовавшейся тюрьме. Куница свернул на Старопочтовую. По гладким каменным плитам ее тротуара очень приятно бежать босому — куда лучше, чем по колючему грунту. Но почему никого не видно на улице? Пусто, точно все жители повымерли.

Мы пробегаем мимо епархиального училища. Это желтое, с монастырскими узкими окнами здание выходит главным своим фасадом на Старопочтовую. Здесь, в училище, стоит булавная сотня атамана Драгана.

А ну, посмотрим, у себя ли черножупанники? Что такое? Окна в училище раскрыты настежь. Около

училищного подъезда валяются перевернутые табуретки, распоротые соломенные матрасы, совсем новое цинковое ведро. Внутри училища тихо. Не слышно людских голосов. Вот так здорово, — выходит, драгачевцы выбрались отсюда!

Вдруг за вокзалом хлопнул выстрел. За ним — другой. Куница сразу остановился.

— А что я говорил? — прошептал он.

Маремуха переменялся в лице, побледнел.

— Может, спрячемся, а, Юзик? — осторожно попросил он.

— Новое дело! — огрызнулся Куница. — Куда ты спрячешься? Тут сейчас начнется такое... Вот слышишь?

Совсем близко, откуда-то со стороны губернского дома, зачастил пулемет. Гулкая дрожь выстрелов пронеслась над тихим, притаившимся городом. Пулемет замолк, но тотчас же у вокзала один за другим захлопали ружейные выстрелы. Неужели это красные подошли так близко? Шальная, неизвестно откуда прилетевшая пуля взвизгнула вверху над крышей епархиального училища.

Куница молча побежал вниз. Мы — за ним вдогонку. Дело совсем плохо, если уж пули свистят над головой!

Мы чуть слышно шлепаем босыми ногами по каменным квадратикам тротуара, а выстрелы теперь звучат еще громче, совсем рядом. До Семинарской остается несколько шагов, как вдруг Куница метнулся в сторону, зашипев:

— Назад! Возле аптеки люди!

Маремуха сразу прилип к стене серого двухэтажного дома, а я заскочил в парадный подъезд. Кто, интересно, там? Может, повернуть обратно? Еще подстрелят.

Но Куница крадется вперед.

— Давай, посмотрим тихонько! — предложил он.

Гуськом мы пробираемся вдоль стены этого серого дома до его угловой водосточной трубы. Тут, сразу же за углом, начинается густой подстриженный садик. Вслед за Куницей мы нырнули под кусты желтой акации внутрь садика и уже оттуда, из-за кустов, выглянули на улицу.

Огромное стекло лучшей городской аптеки Модеста Тарпани разбито. Еще несколько дней назад за этим толстым бемским стеклом стояли на подоконнике пузатые бутылки с прозрачной розовой водой, а сверху на стекле белели буквы:

АПТЕКА

Модеста Тарпани

Ни пузатых бутылей с розовой водой, ни белой надписи, ни самого стекла теперь не видно. Вдребезги разбитое окно похоже на огромную квадратную дверь с очень высоким порогом. Тротуар у аптеки усыпан осколками стекла. А внутри, у белых прилавков, на блестящем кафельном полу, хозяйничают гайдамаки. Вот один из них, чубатый, в сбитой на затылок папахе, вскочил прямо на застекленную стойку с душистым мылом и разной парфюмерией. Стекло треснуло под его сапогом, и нога петлюровца ушла в глубь стойки. Вслед за чубатым петлюровцем на стойку лезут его приятели. Они ногами выбивают зеркальные стекла в шкафах, где стоят в банках с латинскими надписями всякие лекарства.

— Горилку шукай, Остапе, горилку!¹ — кричит один из них, в куцей кубанке, чубатому гайдамаку. Соскочив со стойки на пол, чубатый бежит в глубь аптеки и выволакивает оттуда высокого седого старика в белом халате.

Мы его знаем. Это провизор Дулемберг. Он упирается и не хочет итти. Но чубатый петлюровец с силой тянет Дулемберга за руку и вышвыривает его из аптеки прямо на улицу.

— Молись богу! — приказывает провизору чубатый гайдамак и сует ему в ухо дуло нагана.

Я отвернулся. Страшно. Что они сделают с ним? Но в эту минуту из аптеки закричали:

— Подожди, не стреляй, Остапе!

Это остановили чубатого гайдамака его приятели. Одну за другой они вынесли из аптеки пузатые бутылки с белыми этикетками. Гайдамаки поставили бутылки

¹ Водку ищи, Остап, водку.

А П Т Е К А



Гайдамаки заставили старика пробовать лекарства.

прямо на мостовую и заставили провизора пробовать лекарства.

И вот, стоя на коленях, седой Дулемберг дрожащими руками открывает стеклянные пробки. Из каждой бутылки Дулемберг отсыпает на ладонь щепотки лекарства и прикасается к ним языком. Некоторые бутылки провизор сразу отодвигает в сторону и глухо говорит:

— Не буду. Яд.

Тогда гайдамаки хватают их за горлышко и бьют об стену. Бутылки разлетаются на куски. Ручьи лекарств текут с тротуара на мостовую. Запахло духами, туалетным мылом и больницей.

Бутылки с лекарством, которое Дулемберг полизал языком, гайдамаки погрузили в походную двуколку.

Нам было очень жалко стоящего на коленях посреди мостовой седого Дулемберга, но помочь ему мы ничем не могли. Гайдамаки озверели. Теперь им все равно. Стоит только выбежать из-за кустов на улицу, туда, где гуляют их стреноженные кони, как сразу этот чубатый выпалит в нас из своего нагана.

Седой испуганный Дулемберг, точно в церкви, стоял на коленях перед разграбленной аптекой. Дулемберг ждал, что ему еще прикажут гайдамаки, и боязливо морщился.

Из аптеки на улицу выскочил низенький гайдамак в синем жупане. Подбежав к Дулембергу, он протянул ему большую зеленую банку. Дулемберг отсыпал из этой банки горсть шоколадного порошка и, лизнув его языком, глухо сказал:

— Лакрица. Сладкое.

Тогда все остальные гайдамаки обступили низенького синежупанника, и он насыпал каждому в ладонь по пригоршне этого коричневого порошка. Гайдамаки глотали лакрицу, точно сахарную пудру, и облизывались.

— А ну, катись. Наводи порядок!— вдруг со всего размаху ударил Дулемберга ногой в спину чубатый гайдамак и, сунув за пояс наган, побежал к двуколке.

А провизор Дулемберг, не ожидавший пинка, полетел прямо грудью на мостовую. Его седая борода попала в лужу разлитых лекарств. Дулемберг осторожно

поднялся и, вытирая руки о белый халат, медленными шагами, словно в чужой, незнакомый дом, пошел в разоренную аптеку.

Мостовая сразу опустела. Только вдали неслась к центру города нагруженная аптекарскими бутылками двуколка и звенели копыта догоняющих ее гайдамацких коней.

За лесом ухнула пушка. Ее снаряд провизжал над нами и тяжело разорвался где-то около губернаторского дома.

Мы побежали дальше, к духовной семинарии, по совершенно пустой, безлюдной улице.

Тут было еще страшнее. Со всех сторон нас окружали молчаливые дома с закрытыми ставнями. Наверное хозяева этих домов с утра засели в подвалах и боялись нос показать на улицу. Только одни собаки бегали по опустевшим дворам. Они лаяли и взвизгивали, когда по небу, со свистом рассекая воздух, перекатывались снаряды. Да и мы тогда, нечего греха таить, тоже ежились, приседали, и каждый думал про себя: „Разорвись подальше! Ну, подальше! Только не здесь“.

У духовной семинарии петлюровских часовых уже не видно.

Это серое здание пусто, как и епархиальное училище, в нем не слышно гула машин, которые печатали здесь деньги, не видно людей в окнах, а обе половинки железных ворот, ведущих в семинарский двор, раскрыты, словно только что проехала туда внутрь подвода.

... Чем ближе мы подходили к Заречью, тем громче и сильнее доносился стук колес, скрип телег, ржание коней. И когда открылась перед нами на скалах по ту сторону реки старинная черная крепость, мы увидели тучи пыли, клубящиеся над Крепостным мостом.

Мост сплошь забит подводами и бричками отступающих. Со всех улиц города они устремились сюда, чтобы, проскочив через мост, выехать на ведущий к польской границе Усатовский шлях.

Около Турецкой лестницы, прямо на улице, валяется целый куль белой пшеничной муки. Странное дело — его никто не стережет, никто не подбирает.

Мы перебежали дощатую кладку и полезли по скалам на Старый бульвар. С высокой, обросшей мхом и дикими желтыми цветами скалы была хорошо видна вся улица Понятовского, сплошь запруженная войсками.

Квадратные серые конфедератки поляков смешались с меховыми папахами петлюровцев. Гайдамаки и польские жолнеры обгоняют друг друга. Белая пена хлопьями слетает с морд вспотевших, испуганных лошадей.

На верхнем конце улицы Понятовского поднимаются серые стены доминиканского костела. Высокие черные готические двери его и калитка, ведущая на погост с улицы, плотно закрыты. На костельном погосте пусто. Ни одного человека. Высеченные из серого камня католические святые стоят на крыше костела со скорбными лицами. Святой Петр со связкой тяжелых ключей опустился на колени, наклонив обнаженную голову. Другой святой — Доминик — с лицом, обращенным к небу, поднял, словно мяч, тяжелый каменный крест. Третий — апостол Павел — уныло глядит вниз и перебирает четки, выглядывающие из-под широкого рукава его длиннополой рубахи.

Помнится, ранней весной, когда вместе с петлюровцами в город пришли и поляки, весь вечер звенели над этим доминиканским костелом маленькие колокольчики, и польский бискуп¹ служил в честь какого-то высокого тощего польского генерала торжественный молебен.

Жалобно играл тогда под высокими сводами костела орган, поляки важно звенели шпорами на паркетном полу, и местные польские пани в старинных ротондах, в черных с блесками пелеринках, в длинных с волами шелковых платьях то и дело приподнимались с дубовых скамеек и, вслед за бискупом, торопливо крестили свои строгие, покрытые вуалями лбы.

Сейчас не видно ни бискупа в высокой, похожей на кокошник, тяжелой шапке, ни чопорных тетушек в траурных мантильях и с зонтиками в руках. Не слышно и колокольного звона над доминиканским костелом.

¹ Епископ,

На тротуар под костельной стеной выбежал из строя низенький, одетый в серое польский жолнер. На левой ноге у него размоталась обмотка и тянется за ним по дороге. Солдат останавливается, со злостью срывает обмотку с ноги, швыряет ее на костельный забор и пускается бежать дальше. Долго еще видно, как вдоль улицы по тротуару мелькает белый краешек его кальсон.

Он боится отстать.

Еще совсем недавно такие вот, как он, легионеры маршировали по городу и хвастливо пели:

Большевика бей!
Большевика бей!

Что, побили?

— А зачем они бумаги столько увозят? Вот чудaki, погляди! — сказал Куница.

По улице Понятовского к мосту спускается крестьянская телега, доверху забросанная синими и коричневыми папками. Наверное это дела какого-нибудь петлюровского министерства. Вот одна из папок соскользнула с подводы и упала на мостовую. Белые листы рассыпались по камням. Их тут же смяли копытами лошади, запряженные в блестящий офицерский фаэтон.

— Побежали, подберем, а? — предложил Маремуха.

Трус, трус, а иногда лезет с такими советами, что смешно становится. Вот и сейчас.

Меня даже зло взяло.

— Куда ты, сазан, побежишь? — закричал я Петьке. — Да тебя сразу отхлещут нагайками, — ты же знаешь, какие они теперь злые!

Маремуха обиженно отвернулся. В это время, откуда ни возьмись, к нам подбежал запыхавшийся Сашка Бобырь.

— Здорово, хлопцы! — закричал он нам и потом спросил у Куницы:

— Котьку не видел случайно?

— Нужен он мне, твой Котька! — пробурчал Куница.

— Да я тоже начхал на него! Я хочу только у него свой бульдог отобрать. Бульдог мне нужен! — утирая рукавом лоб, объяснил Бобырь.

— А что — Котька бульдог у тебя-таки отнял? — спросил я.

— Отнял, холера. Нажаловался вчера Гржибовскому, и тот велел отдать Котьке бульдог, — объяснил Бобырь и снова шумно потянул носом.

— Не на маевке ли, случайно? — спросил я.

— Ага, на маевке. Только мы пришли на лужайку, стали палатку натягивать, он и нажаловался. А знаешь еще, что обидно: я ему револьвер-то отдал, а сам побежал с остальными ребятами на гору в сыщиков и воров играть. Мы убежали, а там на лагерь какие-то байстрюки напали. Я прибегаю, вижу — у Котьки под глазом синяк. „Отчего не стрелял?“ спрашиваю. „Не мог, — говорит, — потому что в глаза известкой брызнули“. Брешет, правда? Просто побоялся. А я бы выстрелил.

— Вы вчера ночью пришли? — спросил Куница.

— Ага, ночью. Только собрались догонять этих байстрюков, — приехал гонец и привез приказ возвращаться в город. Около кладбища нас ливень захватил, все промокли, гром, молния, лужи кругом — никто ничего не видит. Тогда Гржибовский закричал: „Разойтись!“, и мы побежали кто куда. А я, видишь, простудился, даже насморк схватил! Вот как! — шмыгая носом, рассказал Сашка Бобырь.

— Выходит, плохая маевка получилась? — с ехидством заметил Маремуха.

— И не говори. Знал бы раньше, что так выйдет, не пошел бы. Гляди — опять кавалерия... И с флажками все...

Да, Сашка не ошибся. Это едет новый отряд польских улан. На пиках у них болтаются маленькие бело-красные флажки с белыми орлами. Всадники сидят в кожаных седлах как-то неуверенно, словно под ними чужие лошади. Уланы прищипоривают лошадей, хлещут их нагайками. Неожиданно над круглой Папской башней рвется шрапнель. Мы видим ее дымок — белый, распустившийся над встревоженным городом, словно маленькое круглое облачко.

Хриплые крики и брань раздаются у моста. Стегая длинной нагайкой свою гнедую лошадь, какой-то польский улан нечаянно рассек желто-голубое знамя на древке у едущего рядом гайдамака.

— Куда ты прешь, нечистая сила! — обозленно закричал на улана гайдамак.

Около нас слышалось: „Тикайте, тикайте!“ Даже те смельчаки, которые не побоялись влезть на деревья, услышав близкие разрывы шрапнели, убегают.

— Бежим на Заречье! — толкнул я Маремуху и Куницу.

И мы, оставив Бобыря, удираем со Старого бульвара от шрапнели наступающих красных.

— В Старую усадьбу!.. Сховаемся в погребе... Оттуда всё видно будет... — еле поспевая за нами, задыхаясь пробубнил Маремуха.

Миновав Успенскую церковь, по узенькому Крутому переулку мы повернули к Петьке. Через кусты и бурьяны мы рванулись к Старой усадьбе, к Петькиному флигелю.

А снаряды над городом прокатывались все чаще. Они падали уже на Усатовском шляху, пересекая дорогу отступающим гайдамакам.

Неожиданно за флигелем сапожника Маремухи мы натолкнулись на моего отца.

С ним еще какой-то парень в соломенном капелюхе. Вот так штука! Как отец попал сюда?

Вдвоем с парнем отец выкатил из бурьяна совсем новенький, смазанный маслом пулемет и, согнувшись, потащил его за хобот на дорожку. Парень в крестьянской одежде помогал отцу, приподнимая пулемет за надульник.

Мы от неожиданности даже спрятаться не успели. Отец заметил нас и сердито закричал хриплым голосом:

— Убирайтесь отсюда, шибеники!¹

А в это время из-за кустов сирени слышался знакомый голос Давида Лейзеровича:

— Мирон, дай-ка Прокопу ленты с патронами.

Отец позабыл про нас и побежал в бурьян. За патронами от Давида прибежал Прокоп Декалюк. За ним следом выскочил дядька Авксентий в своей коричневой коротайке. Ого, да сколько их тут?

¹ Висельники.

— А это что за гоп-компания? — кивнул в нашу сторону низенький, смуглый, похожий на цыгана Прокон Декалюк.

Отец подал ему две зеленые плоские коробки с пулеметными лентами и, шагнув на тропинку, совсем разозлившись, закричал:

— Марш домой, кому я говорю?!

Как бы не так! Чего мы не видели дома?

Заметив, что отец обернулся к Авксентию, мы все мигом бросились в открытый погреб и залегли там, у самого входа, на заплесневелых каменных ступеньках. Отсюда нам чудесно видна и крепость на высокой скале и Крепостной мост, сплошь забитый уланами и гайдамаками.

Отец вынес из бурьяна полное ведро воды и протянул его Авксентию. Дядька схватил ведро и пустился в кусты, к Давиду, куда парень в соломенном капелюхе уже затащил пулемет. Вслед за Авксентием в кусты сирени побежал отец.

А на Крепостном мосту еще сильнее заматались гайдамаки. Их кони встают на дыбы, наезжают друг на друга. Даже сюда слышно, как скрипит и трясется деревянный настил Крепостного моста.

„Ага, запрыгали, гады чубатые. Так вам и надо. Будете знать, как людей расстреливать!“ чуть не закричал я от радости.

И в эту же минуту за кустами сирени раздалась частая скороговорка пулемета. От дрожащих и гулких пулеметных выстрелов сразу заложило уши.

Вот это здорово! Они стреляют отсюда, из Старой усадьбы, прямо в упор по Крепостному мосту, по удирающим в Польшу петлюровцам.

Эх, и во-время пришли сюда с нагорянскими партизанами мой отец и Давид!

Какой-то раненый гайдамак полетел через перила Крепостного моста вниз, в реку. Казалось, вот-вот рухнут в водопад эти шаткие перила: ведь сзади напирали последние части петлюровцев; они давили своих же — узкий деревянный настил не мог вместить всех въезжающих на него, а тут еще сбоку, из Старой усадьбы, все время стрекотал пулемет, и из его куцега вздрагивающего дульца вместе с огнем выры-

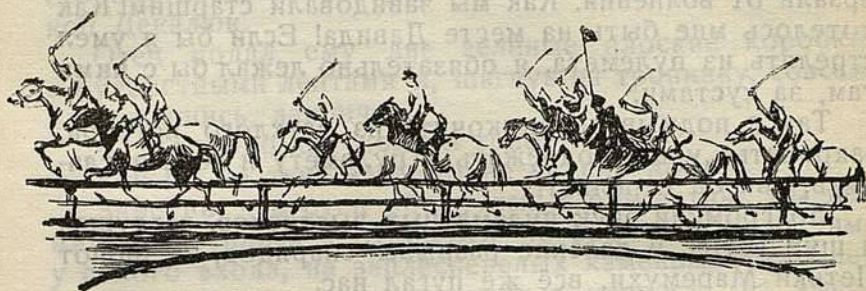
вался туда, на мост, целый град метких, горячих пуль.

Лежа животами на холодных, сырых камнях, мы ерзали от волнения. Как мы завидовали старшим! Как хотелось мне быть на месте Давида! Если бы я умел стрелять из пулемета, я обязательно лежал бы с ними там, за кустами.

Так и подмывало выскочить из затхлого погреба, закричать „ура“, подбежать к пулемету и хоть поглядеть, как он стреляет!

Но громкий звук пулеметных выстрелов, заглушая и шум ветра, и далекие разрывы снарядов, и шопот Петьки Маремухи, всё же пугал нас.

Мы оставались в погребе до тех пор, пока по Крепостному мосту, горбясь, не пробежали отставшие петлюровцы. Перепрыгивая через трупы лошадей и гайдамаков, теряя на ходу карабинки и кудлатые папахи, не глядя на раненых, позабыв обо всем, бежали они к польской границе, чтобы там, за узеньким мелководным Збручем, укрыться от быстрых конников Котовского.



НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Не успела еще затихнуть орудийная канонада, как на Крепостной мост ворвалась разведка красных. Клубя пылью, пролетели разведчики мимо крепости, и долго было слышно, как цокали за скалой, по ту сторону реки, звонкие копыта их быстрых коней.

Погодя, вслед за разведчиками, с выдернутыми из ножен клинками, рысью подъехал к мосту большой кавалерийский отряд.

Всадники в буденновках, в каракулевых кубанках заполнили весь мост. Мы видели из Старой усадьбы ровный, необычайно спокойный бег их усталых коней. Пятерками всадники проезжали по мосту, казалось — им конца-краю не будет.

Вперемежку с красными знаменами блестели над головами у седоков поднятые вверх сабли.

Изредка в конном строю гроыхали нагруженные пулеметами зеленые тачанки.

Вырвавшись с узкого моста на просторный Усатовский шлях, кони, почуяв волю, несли всадников вперед. Отряд за отрядом мчался вдогонку за Петлюрой. Конники хотели настигнуть его еще у границы, наступить ему на пятки, дать гайдамакам отведать отточенные клинки.

Вслед за конницей от вокзала и со стороны Калиновского тракта в город вступили пехота, артиллерия и обозы красных. Мы побежали в город.

Уже за церковным сквером навстречу стали по-

падаться запыленные тачанки красных. Тачанок было много. На них, задрав кверху тупорылые дульца, подпрыгивали износившиеся, пятнистые от облезшей краски боевые пулеметы. Загорелые красноармейцы в выцветших, полинялых гимнастерках, поглядывая с тачанок по сторонам, пели:

Вечор поздно я стояла у ворот,
Вдруг по улице советский полк идет...

По Успенскому спуску грохоча и подскакивая на выбоинах, потянулись орудия и походные кухни с задымленными трубами.

Город постепенно начинает оживать. На улицах появляются жители, с каждой минутой их все больше и больше становится на городских тротуарах. Уже многие горожане идут рядом с красноармейскими тачанками, заговаривают с бойцами, стараясь перекрыть грохот и шум.

Усталые улыбающиеся красноармейцы с любопытством рассматривают незнакомые места: крутые, изогнутые улицы, огороженные каменными барьерами обрывы, старинные шляхетские дома с узенькими, как бойницы, окнами, нашу крепость на высокой скале с ее зубчатыми сторожевыми башнями.

Город взят. Заслуженный отдых ждет усталых, пришедших на самый край своей родной земли людей.

Вечерело. Отца дома не было. Он наскоро поел холодного борща и, не поговорив даже как следует с теткой, убежал вслед за Давидом на Губернаторскую площадь. Красные там собирали митинг.

А я, сидя на топчане, рассказывал Марье Афанасьевне, как мы гостили в Нагорянах.

Неожиданно открылась дверь, и к нам в кухню вошел низенький белобрысый красноармеец. Он громко поздоровался и спросил:

— Нельзя ли будет разместиться у вас, хозяйшка?

— Ой, голубчику, да у нас только две комнатки и еще, вот, кухня... — испуганно сказала тетка, отходя от плиты на свет.

— Вот горе-то! — вздохнул красноармеец. — А я было нацелился начальника нашего к вам пристроить...

— А начальник ваш семейный или холостой? — осторожно спросила тетка.

— Что ты, что ты, милая, — обрадовался вдруг красноармеец, — откуда ж ему семейным быть, когда у нас семьи дома остались? Холостой, конечно, холостой!

Немного помедлив, тетка согласилась уступить этому неизвестному начальнику свою комнатуху с единственным, выходящим в сад окном.

И на следующий день в тетушкиной комнате поселился красный командир Северьянов, — очень высокого роста, широколицый, белобровый, с выпущенной из-под козырька зеленой буденновки прядью волос. Он — начальник конной разведки того самого Тилигуло-Березанского полка, который вместе с конницей Котовского выгнал из города петлюровцев.

На походной двуколке ему привезли складную железную кровать с проволочной сеткой и полосатый матрац. Северьянов сам втащил эту кровать в тетушкину комнату, положил матрац, а Марья Афанасьевна застелила его чистой простыней. Сверху постлал Северьянов свое ворсистое серое одеяло. Он ловко запрягал края его между матрацем и проволочной сеткой.

В тот же день к нам пришел телефонист и установил на этажерке желтый полевой телефон. Он протянул через форточку в сад, а там по веткам деревьев, потом на улицу и по столбам до самого епархиального училища, где разместился полк Северьянова, черный блестящий провод.

Вечером Северьянов уже заговорил по телефону. Нам в спальню было слышно, как повертел он ручку аппарата и гулко спросил:

— Штаб полка? Дайте начальника штаба.

В крольчатнике нашем тоже перемены. Клетку с ангорской крольчихой вынесли под забор к Гржибовским. У них тихо, даже Куций весь день сидит на привязи и не так лает, а колбасник пан Гржибовский ходит по своему двору хмурый, злой, — видно, он жалеет своего Марко, который удрал с петлюровцами.

Клетку с крольчихой мы поставили под забор к Гржибовским вот почему: у Северьянова есть конь

Каштан, коричневый, гладкий, с белой лысиной на лбу. Ординарец Северьянова — смуглый, загорелый красноармеец Кожухарь — поставил Каштана к нам в крольчатник, а с ним заодно и свою кобылу Психею. Кожухарь поселился по соседству, у Лебединцевой, а там держать лошадь негде.

Отец по целым дням не бывает дома. С первых же дней после прихода красных он печатает в типографии на плотной синей бумаге газету „Большевик границы“. После работы он нередко дежурит в ревкоме или ходит по ночам с винтовкой по городу.

Прошло две недели.

Осыпался каштановый цвет на деревьях около заколоченной на лето гимназии. Отцвели липы возле Успенской перкви. Распустились цветки белой акации в аллеях Нового бульвара, а на огородах уже зацвела картофельная ботва. Это значит, что скоро тетушка к обеду будет готовить обсыпанную укропом и политую сметаной вареную молодую картошку.

Всё больше твердеют, наливаются соком маленькие плоды на широких ветвях старой, дупливой груши. Неслышно проходит лето, и шаг его отмечается появлением на базаре первых ранних яблок, красной смородины, запоздалых, изъеденных птицами темномалиновых вишен.

Мне кажется, что большевики уже давно в городе, что красный флаг на куполе епархиального училища висит с зимы, а Северьянов живет у нас и того раньше. Одно плохо — не за горами осень, в гимназии начнутся занятия, а об исключении ни отцу, ни тетке я не рассказывал. И я с тревогой жду окончания каникул. Ведь из всех списков моя фамилия вымарана зелеными чернилами. Эх, было бы здорово, если бы гимназия со всеми делами в один прекрасный день сгорела. Тогда я бы мог спокойно после окончания каникул пойти на занятия.

Я крепко привязался к ординарцу Северьянова Кожухарю. Хотя живет он не в нашем доме, но у нас бывает чаще Северьянова. Того всё время вызывают по телефону в полк. Не раз, услышав среди ночи

телефонный звонок, он вскакивает с постели и затем, переговорив по телефону, надолго уезжает из дому. В окрестных лесах пошаливают бандиты, и конная разведка часто гоняется за ними по незнакомым оврагам, по широким лесным просекам.

У Кожухаря дела меньше. Северьянов редко берет его с собою на операции, и поэтому Кожухарь в свободное время отсиживается у нас, чистит крольчатник, ухаживает за своей Психеей и помогает по хозяйству Марье Афанасьевне.

Иногда тетка стирает им обоим — Северьянову и Кожухарю — белье. Тогда Кожухарь вместе с ней возится у плиты, носит воду, ловко выкручивает мокрые рубашки и полотенца, а потом, отдыхая на топчане, рассказывает тетке всякие небылицы.

Ее Кожухарь называет только по отчеству — Афанасьевна. Меня он сразу прозвал „махамузом“.

— Почему „махамуз“? — спросил я, не понимая, что значит это слово.

— А вот так, — загадочно улыбнулся коренастый смуглый Кожухарь, — такие махамузы бывают.

— Какие такие?

— А вот такие... именно.

Так и пошло — махамуз: „Если меня будут спрашивать, махамуз, скажи — пошел на базар, скоро вернусь“. „Кусай семечки, махамуз!“ „Лошадь не хочешь выкупать, махамуз?“

Я не обижаюсь. Пускай будет махамуз, всё равно. Больше всего, конечно, мне нравится купать лошадей. Иной раз, когда северьяновский Каштан остается дома, мы едем на купанье вместе: я на Каштане, Кожухарь на Психее.

Едем вниз, по Крутому переулку. Чем ближе к речке, тем круче и извилистей становится спуск, лошади осторожно ступают вниз, и тогда я ощущаю под собой не лошадиную спину, а какую-то странную пустоту. Поневоле хватаешься обеими руками за шелковистую гриву Каштана.

А Кожухарь — хоть бы что! Сидит, прищулив глаза, на грустной Психее, не шелохнется даже и только изредка, в такт движению лошади, покачивает головой. Бронзовый, прокопченный солнцем, с вечно прищу-



Я крепко привязался к ординарцу Кожухарю.

ренными улыбающимися глазами, он кажется мне необычайно веселым, разбитным, а главное — смелым парнем.

На поворотах, когда лошади боками сталкиваются одна с другой, мне приятно ощущать коленом или щиколоткой ногу Кожухаря.

Хорошо голому сидеть верхом на лошади и, натянув поводья, посылать ее вперед в воду! Сперва нехотя, пофыркивая, а затем всё смелей и смелей ступает она в реку, вытянув морду, поводя ушами и нащупывая дно. А когда дно становится глубже и вода заливают лошадиный круп, лошадь сжимается, вздрагивает и, оторвавшись от дна, легко пускается вплавь. Сидишь на мокрой ее спине, ноги сносит назад вода, хвост лошадиный стелется позади, словно трава, — сидишь и только, легонько дергаешь поводьями, направляешь лошадь, куда тебе надо. А потом, когда она устанет, выводишь ее на мелкое. Мокрая, лоснящаяся лошадь фыркающая припадает мордой к быстрой воде, а ты, взобравшись на ее скользкий круп, вытянув руки и изогнувшись, прыгаешь в воду — туда, где глубоко. Лошади, стоя в реке, обмахиваются хвостами, кусаются, весело ржут, а мы с Кожухарем уплываем на тот берег.

Теперь я реже встречаюсь с хлопцами. Куница не был у меня уже целую неделю. Петька Маремуха, которого я встретил недавно около Успенской церкви, сказал, что Юзик собирается в Киев к своему дядьке, — он хочет поступить в морскую школу.

Как-то рано утром Маремуха прибежал к нам в хату и с таинственным видом позвал меня. Мы прошли на огород, где уже наливались соком круглые помидоры, и Петька тихо сказал мне:

— Знаешь, кто у нас поселился? Догадайся!

Я долго мучился, называл фамилии всех знакомых военных, которые приходили к Северьянову и Кожухарю, и мне даже стало досадно, что теперь и Петька будет купать лошадей, но догадаться, кто их квартиранты, я не смог. Тогда Маремуха сам выпалил:

— Знаешь кто? Доктор Григоренко! Никогда бы не догадался, правда?

— Ну да! Бреши! Очень нужно доктору с вами жить, когда у него такой большой дом на Житомирской.

— Тот дом уже не его! — помолчав объяснил Петька.

— А чей же?

— Дом у него реквизировали большевики; кто в нем жить будет — неизвестно. А доктор с нами живет. Он вчера приехал к нам и привез папе два мешка белой муки, четырехнольки. Знаешь, пасхи пекут из такой? И денег не взял. Попросил только, чтобы папа пустил его в хату. Мы потеснились и пустили. Он обещал за это больше с нас денег за аренду не брать. А вещей понавозил — полно! Всю ночь перевозил, а папа ему помогал. И еще, знаешь... — замялся Маремуха, — он подарил маме платяной шкаф. „Всё равно, — говорит, — мне он ни к чему, а вам пригодится...“

--- Куда же он все вещи девал?

— А на чердак. Мы боимся даже: а вдруг потолок обвалится. И в погребе еще есть... Только, смотри, никому не говори.

— И твой папа ему помогал?

— Ну... он его попросил. Папа сперва не хотел, а потом...

— Попросил... попросил... — передразнил я Петьку. — Твой папа и ты вместе с ним — подлизы. Когда твоего папу побили гайдамаки, ты что говорил про доктора? А сейчас он вам подарил шкаф да муку — вот вы и раскисли. Ноги ему лижете.

— И не лижем... Совсем не лижем... — вспыхнул Маремуха. — Мой папа — добрый, ну и что, раз человек его попросил. Дом-то не наш, а Григоренкин... Чего ты пристал?... Никто не лижет...

— И Котька живет у вас? — спросил я тогда, смягчившись.

— Нет, Котька уехал в Кременчуг, — подумав продолжал Маремуха. — Там его мамы сестра живет.

— А брось, куда там уехал. Заховался, наверное, где-нибудь здесь, а ты сказать не хочешь, чтобы я его не отыскал. Жалеешь своего паныча. Помнишь, как бумагу ему таскал?

— Таскал, ну и что же? А сейчас не стану... Пойдем к Кунице?

К Стародомскому я не пошел. Зато вечером, когда смерклось, я отправился в Старую усадьбу.

Надо проверить, правду ли мне рассказал Маремуха. По крутым склонам Старой усадьбы стелется в зарослях можжевельника и волчьих ягод чуть заметная тропка. Я прошел по ней до самых кустов махровой сирени и неслышно раздвинул их. В трех шагах от меня белеет Маремухин флигель. В комнатах уж зажгли свет, но кто в них есть — не видно, потому что на окнах темные занавески. Напротив флигеля, закиданная свежим сеном, стоит докторская пролетка. Передние ее колеса въехали на заросшую бурьяном клумбу. За флигелем заржала лошадь. В сенцах флигеля стукнула щеколда, и на пороге появился в белой рубаше сам доктор Григоренко. Он подошел к пролетке, взял оттуда охапку сена и понес ее своей лошади.

Значит, Петька не соврал! Что же теперь делать? „Надо рассказать Кунице, какой сосед появился у нас в Старой усадьбе“, подумал я и побежал к Юзику. По дороге, возле забора Лебединцевой, я увидел Лейзеровича. Курчавый, в светлой рубаше с растегнутым воротом, он нес подмышкой пачку бумаг.

— Ты куда, Василь? — остановил меня Лейзерович.

— А я к Кунице!

— Вот и хорошо. Вы мне как раз оба нужны. Тащи его сюда, сходим сейчас вместе в крепость. Я подожду вас на крылечке.

— Да ведь поздно сейчас, дядя Давид, сторож не откроет.

— Ничего, откроет, — успокоил меня Лейзерович. — Не задерживайтесь только! Я вас давно ищу.

Делать нечего. Я побежал за Куницей и с ним вместе возвратился к Давиду. Лейзерович уже поджидал нас, сидя на лесенке. В руках у него было полотенце.

— На обратном пути выкупаюсь, — объяснил он. — Нет времени даже в баню сходить, хоть в речке помоюсь.

— Комары кусают. Вечером на речке комаров много, — сказал Куница.

— Меня комары не любят. Я костлявый! — засмеялся Давид и рассказал нам, как в прошлом году, когда он ловил с думановскими рыбаками окуней, ему пришлось ночевать на самом берегу пруда, и ни один комар его не тронул. Но чем ближе мы подходили к Старой крепости, тем молчаливее становился Лейзерович. На мосту Давид сложил вчетверо полотенце и спрятал его в карман. Подойдя с нами к сторожке, он смело постучал в крайний ставень.

Сторож вышел из сторожки и, выставив вперед свою сучковатую палку, хмуро поглядел на всех.

— Открой-ка ворота! — сурово приказал Давид.

Сторож убрал палку и попятился.

— А вы кто такие будете? — боязливо и глухо спросил он.

— Я из ревкома. Хлопчиков этих помнишь? — показал на меня с Куницей Давид.

— Дядя, помните, мы цветы сюда носили — тому человеку... — напомнил Куница.

— Ага, ага, — закивал старик, — теперь признал!.. — Хромая, он подошел к нам. — Только я, товарищ начальник, ни в чем не виноватый, верное мое слово. Они мне его одежду дали — я ею и то не попользовался. Она в башне так и осталась.

— Да чего ты суетишься, старик? Никто тебя не винит, — тихо ответил Давид. — Могила-то цела? Не разорили ее гайдамаки?

— Цела, цела, батюшка, — торопливо забормотал сторож, открывая ворота, — только я ее бурьяном забросал, а то, думаю, кто ж его знает, — увидит какой гайдамак ту плиту, что тогда?

Сторож сказал правду.

Еще издали, обогнув Папскую башню, мы заметили у подножья бастиона темную кучу бурьяна. Мы с Куницей первые бросились к ней и быстро очистили могилу от кустиков колючего перекати-поля, не засохшей еще лебеды, мелкого подорожника и полыни. На желтом суглинке обнажилась та самая квадратная каменная плита, которую мы притащили сюда вместе с Петькой Маремухой.

Веточки сирени уже засохли. Сторож смел их прочь своей палкой.

— Здесь и закопали! — сказал Куница.

Опустив голову, Давид печально смотрел на могильную плиту. Постояв так молча несколько минут, он внезапно выпрямился и тихо, сквозь зубы, сказал:

— Какого человека загубили... Шкуры петлюровские...

Потом он круто повернулся к сторожу и, потирая ладонью лоб, приказал ему:

— Ты, старик, присмотри еще немного за могилой. Мы тут памятник поставим.

Сторож молча кивнул головой. Куница поднял с земли высохшую веточку сирени и переломал ее.

— А вы из какой башни смотрели? — повернулся к нам Давид.

— А вот из той крайней, высокой... Видите окно большое? — показал я на Папскую башню.

— Оттуда?.. — удивился Лейзерович. — И как только вас не заметили, прямо удивительно... Ну, ваше счастье, ребята.

— Да я уж и то, товарищ начальник, думал, как они туда забрались... Какая нечистая сила их туда понесла?

— Ладно, ладно, будет тебе, нечистая сила... — криво улыбнувшись, сказал Давид. — Пойдемте-ка домой, хлопцы, старику спать пора.

По дороге из крепости к мосту, у самого подземного хода, мы встретили часового. С винтовкой наперевес он медленно прохаживался вдоль крепостной стены.

— Что он — мост охраняет? — тихо спросил Куница у Лейзеровича, когда мы прошли мимо.

— Охраняет, от бандитов, — ответил Давид. — Ты вот спать уляжешься, а он всю ночь будет ходить здесь, чтобы в город бандиты не заскочили. Понятно?

— Понятно! — откликнулся Куница.

— А если понятно, то шпарьте, басурманы, домой. Вам спать пора! — сказал Давид и, заметив, что нам не очень-то хочется покидать его, добавил: — Ну, нечего, нечего, ступайте. Завтра выкупаетесь.

— Пойдем, Юзька! — с обидой в голос позвал я Куницу.

Раз не хочет, чтобы мы вместе с ним купались, — не надо. Мне обидно, что Давид считает нас маленькими. „Спать пора!“ Тоже, выдумал!.. Куница, оглядываясь, пошел за мной по пятам. Белая рубашка Давида смутно маячила возле самого берега. Видно, он уж стал раздеваться.

Через неделю в Старую крепость из города с красными знаменами, с венками, повитыми траурными лентами, пришли военные и рабочие — члены местных профсоюзов: печатники, коммунальщики, железнодорожники.

Смеркалось. Погода пасмурная, осенняя. Совсем не похоже было, что на дворе июль. Тучи, мрачные, черные, плыли по небу на запад. Сухой холодный ветер рвал тугие полотнища знамен, поднимая с земли пыль, сухую траву. Мы с Куницей вошли в Старую крепость последними позади колонны.

Нашей могильной плиты уже не было. У подножья зеленого бастиона, над могилой Сергушина, подымался гладкий, простой памятник из серого мрамора. Посередине памятника не очень четкими, грубоватыми буквами была выбита надпись:

Борцу за советскую Украину,
первому председателю
военно-революционного трибунала
ТИМОФЕЮ СЕРГУШИНУ,
погибшему от руки петлюровских бандитов

Памятник обнесен железной свежеевыкрашенной решеткой. У нее, нахмурившись, без фуражки, стоит, курчавый Давид Лейзерович. Он держит под руку молодую невысокую девушку в синей косыночке. Девушка плачет. Пряди ее темных, каштановых волос выбились из-под косынки и падают на мокрые от слез глаза. Кто она? Сестра, знакомая или просто чужая, вспоминающая собственное свое горе девушка? А может, это та самая девушка, с которой познакомился Сергушин, когда по ночам, разыскивая друзей, смело бродил по занятому врагами, чужому городу?

Среди военных, рядом с нашим квартирантом, высоким белобровым Северьяновым, сняв засаленную кепку, стоял мой отец. Около него, выстроившись в две шеренги от могилы до Папской башни, стояли рабочие — типографщики, мукомолы с мельницы Орловского, рабочие электростанции. Среди служащих городской больницы я узнал провизора Дулемберга; он облокотился на палку — седой, сухопарый.

На бастион взобрался низенький командир Тилигуло-Березанского полка. Коренастый, в светлозеленом казакине, он несколько минут молча стоял над толпой, держа в руках форменную фуражку с вогнутым козырьком. Потом он стал говорить. Над притихшей толпой очень ясно прозвучали его первые отрывистые, жесткие слова.

Командир говорил, что донецкий шахтер Сергушин погиб за дело Советской власти от руки гайдамаков, продававших Украину кому попало. Командир говорил о жертвах, принесенных рабочим классом за счастливое будущее трудящихся. Командир призывал всех отомстить за смерть Сергушина.

Порывистый северный ветер то и дело подхватывал речь командира и то заглушал отдельные слова и фразы, то, наоборот, проносил их по всему двору над седыми мохнатыми башнями.

Мы с Куницей краем уха улавливали обрывки горячей командирской речи, и всё яснее в нашей памяти всплывало то недавнее солнечное утро, когда здесь, под этим вот бастионом, гайдамаки расстреливали Сергушина.

Я вспоминал, как пришел он к нам тогда, зимой, в своей стеганой солдатской кацавейке, в пушистом заячьем треухе — поздний и неожиданный ночной гость. Казалось, это было вчера.

Ведь сундук, на котором он лежал в ту ночь, стоит все там же, у окна. Еще цела керосиновая лампа, при неясном, мигающем свете которой он показывал мне на стене такие потешные фигурки.

Вот, как сейчас помню, подходит к его постели Марья Афанасьевна. Тихо шаркая войлочными туфлями, она несет нашему гостю большую кружку горячего чая, настоянного на сушеной малине. Сергушин благо-

дарит тетку и, высунув из-под одеяла худую, тонкую руку, принимает чашку.

Рука дрожит — вот-вот горячий чай расплещется сейчас прямо на одеяло. Наблюдая за гостем со своей постели, я про себя ругаю тетку, — не могла подвинуть к сундуку стул, что ли? Но все обходится благополучно. Отпив несколько глотков, Сергушин осторожно ставит чашку на подоконник, за кружевную занавеску. Кружка дымится на подоконнике, точно непогашенная папираса.

Заметив, что я слежу за ним, Сергушин вдруг ни с того ни с сего хитро подмигивает мне. А потом на стене появляются китайские тени. Они то подпрыгивают к самому потолку, то становятся маленькими-маленькими — точно мыши.

Всю жизнь я буду помнить эти китайские тени. Никогда я не забуду взгляда Сергушина — простого, веселого, чуть хитроватого...

Речи окончены. На могилу осторожно кладут принесенные венки. Они сплошь покрыли посыпанный желтым песочком могильный бугорок. Несколько венков какая-то пожилая женщина повесила на железную ограду. Черно-красные траурные ленты развеваются на ветру.

Толпа, плотно окружавшая ограду, редет, расступается, и теперь могила, украшенная венками, становится видна отовсюду, даже от подножья Папской башни. Красноармейцы поднимают винтовки. Щелкнули затворы. Кто-то из командиров подал команду. Огненные пучки пламени взлетают вверх, к сумрачному, туманному небу, гулкое эхо прокатывается по крепости и вмиг уносится налетевшим ветром далеко-далеко, на Заречье.

От ружейных залпов и от грустной, торжественной песни „Вы жертвою пали в борьбе роковой“ стало еще более печально и холодно — так, будто на землю выпал сырой, до костей пронизывающий осенний дождь.



МЕНЯ ВЫЗЫВАЮТ В ЧЕКА

Пошла неделя после открытия памятника Сергушину. Однажды спозаранку Марья Афанасьевна разбудила меня:

— Вставай, к тебе Петька пришел!

Какой чорт принес Петьку в такое время? В окна брызжет раннее солнце, оно выглядывает из за крыши крольчатника. Постель отца гладко застлана, на столе дымитя недопитая чашка чая. Видно, отец недавно ушел из дому.

Сонный, неумытый, я выбежал во двор.

Петька ожидает меня у калитки. У него какой-то странный, встревоженный вид.

— Ну, чего надо? Ты бы еще ночью прилез!

— Василь, знаешь — доктора арестовали! И Григоренчиху тоже! — выпалил в ответ Маремуха.

— Когда?

— Да сегодня! Вот только-только, на рассвете. А знаешь как? Доктор услышал, что к нам стучат прибежал к папе в одних кальсонах и давай его будить. „Спрячь меня, ради бога, спрячь!“ А потом,

когда увидел, что папа отворять пошел, — в погреб запрятался. Не в тот, что на дворе, а в наш маленький, который под кухней. Мама там с вечера поставила на лесенке кислое молоко, так он в темноте все кринки поколотил. А те с винтовками вошли, зажгли лампу, полезли за ним в погреб. Он упирался, не хотел сам вылезать. Его вытащили, будто кабана. До чего он грязный был! Кальсоны в глине, руки в простокваше, даже ухо выпачкал.

— Вещи взяли?

— Ничего! Горничная ихняя куда-то убежала, — наверное боится, что и ее арестуют. А вещи у нас все остались. И ковры, и шкафы, и кровати — всё у нас. И коняка сивая. Я ее теперь поить буду.

— И всё это ваше будет, да?

— Наше? — Петька вздохнул. — Нет, заберут, наверное, в тот клуб, что на Житомирской. Туда же всё реквизированное свозят — диваны, зеркала. Там театр показывать будут и туманные картины, и всё даром... А знаешь, Васька, — вдруг спохватился Маремуха, — это, наверное, мой папа всё выказал про доктора! Вчера утром к нам пришел Давид. Он в дом не заходил, а попросил, чтобы я тихонько вызвал ему папу. Я вызвал, и они долго в кустах над скалой сидели, потом папа с Давидом куда-то пошел. А вернулся и уж больше с доктором не говорил. Вот я и думаю: папа, наверное, рассказал про него, правда?

— Ребята, а где здесь Манджура живет? — услышалось в эту минуту рядом.

Я даже отпрыгнул в сторону. Около калитки стоял красноармеец — молодой веснушчатый парень. Он был подпоясан солдатским ремнем с двуглавым орлом на медной пряжке. Подмышкой у красноармейца была зажата тетрадка, а в руке он держал тоненький синий конверт.

— Папы дома нету! Он в типографии.

— В типографии? А кто же пакет примет?

— Я сейчас позову тетю. Подождите.

— погоди! — строго окликнул меня красноармеец. — Тетю, тетю. А ты сам-то грамотный?

Я утвердительно кивнул головой.

— Сын его?

— Да.
— Ну вот видишь, — улыбнулся красноармеец. — Распишись, только поаккуратней, — приказал он, подавая мне раскрытую книжку.

— Ищи-ка тут Василия Манджуру, а рядом крестик. Возле крестика и распишись.

— Василия? Да ведь папу зовут Мирон! — ответил я.
— Мирон? . . . Мирон? . . . — озадаченно протянул красноармеец, но тотчас же, тряхнув головой, решил: — Ничего, какая разница: Мирон, Василий? Это наш писарь опять напутал. Расписывайся.

Прижав к колену книжку, я написал свою фамилию. У меня дрожала рука. Второе „а“ я написал косо и залез на соседнюю клетку.

Красноармеец взял обратно разносную книгу, отдал мне конверт и пошел прочь.

Петька Маремуха сразу потребовал:

— А ну, покажи!

Усевшись на крылечке, мы стали разглядывать этот тоненький конверт, в который была вложена какая-то бумажка. Она прощупывалась пальцами. На конверте крупными буквами было написано:

„Здесь, Заречье, Крутой переулочек, дом 3, Василию Мироновичу Манджуре“.

— Васька, ведь это тебе письмо! Открой, — сказал Маремуха.

Петька прав. Меня зовут Василий, а по отчеству Миронович. Но ведь я ни от кого никогда не получал еще писем. Кто бы это мог писать мне?

— Нет, это, наверное, ошибка, — медленно ответил я Петьке. — Я покажу папе, пускай он разберется.

— Вот чудак! Боягуз! — еще больше засуетился Петька. — Ну разорви конверт, что тебе стоит?

Теперь мне уж просто хотелось подразнить Петьку.

— Тебе какое дело? Мое письмо: хочу — открою, хочу — нет.

Петька обиделся.
— Я давно знаю, что ты скотина! — тихо протянул он.

— Я скотина, да? Да? Ну, тогда убирайся! Ищи своего Котьку! Уезжай к нему в Кременчуг! — набросился я на Маремуху.

Петька, вконец обиженный, встал, зашмыгал носом и, не сказав ни слова, поплелся к калитке.

Мне стало жалко: я ни за что ни про что обидел его. Он все-таки хороший хлопец этот коротышка. Догнать разве? Да ну, не стоит. Все равно до вечера забудется. Но что же в конверте?

Я осторожно разорвал конверт и достал сложенную вдвое беленькую бумажку. Когда я читал ее, буквы, напечатанные на машинке, прыгали у меня перед глазами:

Гр. В. М. Манджура!

Уездная Чрезвычайная комиссия вызывает Вас на 20 августа к 10 часам утра к следователю т. Кудревич (Семинарская улица, № 2, комната 12, 2-й этаж). За неявку ответите по закону.

Комендант ЧК Остапенко.

Письмо прислано из того большого двухэтажного дома на Семинарской улице, в котором помещается Чрезвычайная комиссия. Окна нижнего этажа в этом доме перегорожены решетками. В палисаднике растут высокие серебристые тополи, и тень от них по утрам падает на Семинарскую улицу. Круглые сутки вокруг этого здания ходят часовые в буденновках. Я знаю, что за железными решетками сидят, дожидаясь суда, два петлюровских министра, польская графиня Рогаль-Пионтковская, владелец водяной мельницы Овсия Орловский и много петлюровских офицеров. Когда ушел Петлюра, эти офицеры тайно остались здесь, в нашем уезде. Совсем недавно Чрезвычайная комиссия дозналась, что эти офицеры хотели поднять восстание против красных. Они поддерживали связь с теми бандитами, которые грабят людей на одиннадцатой версте за городом. Петлюровцы были арестованы и привезены в город.

Но зачем я нужен Чрезвычайной комиссии? Может, хотят принять меня в юные разведчики, чтобы я помогал ловить петлюровцев по селам? А в самом деле? Приду я туда завтра, дадут мне коня — настоящего коня! — и кожаное седло дадут, две бомбы, винтовку и скажут: „Поезжай!“ Что, не поеду? Конечно, поеду! Подумаешь — испугаюсь! Не смогу разве ловить этих гайдамацких офицеров? Еще как смогу! Ведь в отряде

Чека есть хлопец чуть-чуть постарше меня. Он часто пролетает галопом по улицам, и даже на мосту, где нельзя ездить быстро, несется, как сумасшедший. Этот хлопец носит каракулевую кубанку с красным верхом, кожаную куртку, и портупею. Ему выдали настоящий маузер в деревянной кобуре, и он, пуская лошадь рысью, всегда поддерживает его рукой. Куница мне говорил, что всю семью этого мальчика порубали в Проскурове гайдамаки из отряда Тютюнника, только он один уцелел и убежал к большевикам.

Как мы завидуем этому мальчику, когда он, не глядя на прохожих, всё прищпоривая и прищпоривая своего пятнистого коня, прижавшись грудью к луке командирского седла, скачет по Житомирской к себе, в Чрезвычайную комиссию! Кто бы из нас ни шел в эту минуту по улице, каждый обязательно остановится и долго-долго глядит ему вслед.

Все знают этого паренька у нас в городе. Вот бы мне поступить к нему в помощники! Да я бы каждого его слова слушался, лишь бы можно было мне скакать с ним вдвоем где-нибудь в поле, зная, что нас дожидаются в городе, как настоящих красноармейцев. Только вряд ли возьмут меня на такую службу. Ведь этот парень, наверное, и в боях бывал и с петлюровцами воевал, — его все знают...

Мне хотелось догнать Петьку, показать ему повестку, похвастаться перед ним, трусишкой.

Или, может, побежать к Юзику? Нет, не стоит. Потерплю лучше до завтра, а потом расскажу всё.

Как медленно тянется время!

К счастью, я вспомнил, что Кожухарь как-то просил меня поискать японских патронов. У его приятеля в штабе полка есть большой, ломающийся надвое револьвер — смит-вессон. А к этому смит-вессону очень хорошо подходят японские винтовочные патроны.

— Вот разыщи — постреляем! — пообещал Кожухарь.

Надо поискать. Ведь у меня где-то на чердаке запрятана обойма этих японских патронов. Их было пять штук — продолговатых блестящих патронов из красной меди, с тоненькими пулями и плоскими аккуратными капсюлями. Где только они?

Я полез на чердак и долго искал там патроны в душном, пыльном полумраке. Но обойма где-то затерялась. Я так и не смог ее найти, и это было очень жалко. Потом я долго кормил заячьей капустой крольчиху, потом побежал на огород — поглядеть, как созревают тяжелые, сочные помидоры. До самого вечера я никак не мог найти себе места. Хотелось, чтобы поскорее проходило время.

Вечером из типографии пришел отец. Я сразу бросился к нему и, протягивая повестку, сказал:

— Посмотри, таго, что мне прислали!

Он осторожно поднес ее к глазам и стал читать. Я, выжидая, смотрел на отца. Отец был в черной нанковой блузе, от него пахло типографской краской.

— Ну, что ж, — отдавая мне повестку, сказал отец, — иди, если зовут.

Потом, немного помолчав, отец улыбнулся и добавил:

— Это тебя Давид все сватает.

— Куда сватает, папа?

— Вот погоди, все узнаешь! — загадочно ухмыльнулся отец, подходя к умывальнику, — а самое главное — не бойся: говори только правду. Там справедливые люди сидят.

Слова отца меня немного успокоили. Но всё равно время тянулось очень медленно. Лег спать я с петухами, но заснуть долго не мог. Я прислушивался к ровному, спокойному храпу отца и всё обдумывал его слова. Куда же меня сватает Давид? Зачем меня вызывают на Семинарскую? Кто такой этот Кудревич, который будет меня завтра допрашивать? Я и фамилию такую слышу впервые.

Утром я поднялся с постели первым. Отец и тетка еще спали. Тихонько я выбежал во двор и, ополоснув холодной водой лицо, вышел на улицу.

Дорогой я всё время ощупывал запрятанную в карман повестку. На улице было тихо и прохладно. Наш огород был освещен солнцем. Над забором, увитым настурцией, жужжали мухи. Который теперь час? Кто его знает: быть может — шесть, а быть может — де-

вать. Летом солнце всходит очень рано, и доверять ему опасно.

На Крепостном мосту ходил часовой. С винтовкой в руках, в шинели, он медленно прохаживался вдоль перил. Он все еще не сменился и охранял город от бандитов. А вдруг, в самом деле, когда-нибудь бандиты попытаются ворваться в город?

Ведь они прячутся недалеко отсюда — в соседних лесах, но особенно их много на одиннадцатой версте. В этом месте Калиновское шоссе окружено густым, дремучим лесом с глухими оврагами и лощинами. Оврагами бандиты часто подкрадываются к самому шоссе и грабят проезжих крестьян, убивают коммунистов и даже нападают на красноармейцев. Они могут любой ночью обойти город со стороны крепости и, убив часового, ворваться в самый центр. Недаром каждую ночь ревком и комитеты бедноты устанавливают дежурства жителей. Жителям выдают в ревкоме винтовки и патроны, и они ходят с ними по улицам города.

На зеленом заборе высшеначального училища развешаны кожаные седла. Дощатые ворота училища распахнуты. Во дворе дымится походная кухня. Под самым крыльцом на траве сохнет белье. Видимо, здесь расположились военные. На губернаторской площади пусто. Напротив губернаторского дома виднеется убранный еловыми ветвями деревянный помост. С этого помоста во время митингов говорят речи. А после каждой речи играет музыка. Звуки оркестра слышны тогда и у нас, в Крутом переулке.

Минуя Губернаторскую площадь, узеньким проулочком я подошел к типографии. Она была еще закрыта. На ступеньках крыльца сидел сторож. Часовые стрелки на ратуше показывали половину восьмого. Мне оставалось ждать еще два с половиной часа. „Пойти разве домой? Нет, домой все равно не пойду“, решил я и медленно, не спеша, пошел дальше, по Тарнопольскому спуску, на Новый бульвар. Навстречу всё чаще и чаще стали попадаться одинокие прохожие. Проехала телега с пятью красноармейцами. В руках они держали винтовки. Обгоняя телегу, галопом проскакал всадник, одетый в черное, с полевым биноклем на груди.

Ох, как мне хотелось повстречать сейчас кого-нибудь из знакомых хлопцев! Если бы они только знали, куда я шел! Я бы, пожалуй, показал им синий конверт или краешек повестки, где на машинке напечатана моя фамилия. Но, как нагрех, никого из знакомых не было видно.

Чтобы побыстрее шло время, я останавливался перед каждым магазином, разглядывал восковые женские головы в парикмахерской Мрачко, выцветшие портреты в фотографии Токарева, вязанные жакеты за окнами магазина Самуила Фишмана на Ларинке. Потом свернул на бульвар.

Здесь, в аллеях Нового бульвара, совсем прохладно. Где-то вверху, в кленовой листве, щебечут птицы, воздух здесь чистый, даже дышать вкусно. Вон под кустами местечко, где мы отдыхали тогда, ночью, после налета на григоренковский дом. Ведь это было совсем недавно, а уж всё позабылось, и кажется — с той ночи добрый год прошел.

Долго я еще слонялся по тенистым аллеям Нового бульвара, а потом свернул на самую крайнюю тропинку над скалой. С этой тропинки хорошо видна поднимающаяся над крышами серая вышка ратуши, а на ней — позолоченный циферблат городских часов. Слышно, как отбивают они — глухо, протяжно — сперва четверти, а потом полные часы.

Когда большая часовая стрелка подползла к половине девятого, я еще раз ощупал повестку и смело пошел вверх, к Семинарской улице. Но удивительное дело: с каждым новым шагом я волновался всё больше и больше.

Хоть и стыдно сознаться в этом, но я чего-то побаивался. Будь бы еще кто-нибудь со мною — Куница, ну Сашка Бобырь или хоть Петька Маремуха, — да я бы сам потащил их вперед. А одному было страшновато.

Сквозь деревья, на углу Семинарской, уже забелело здание Чрезвычайной комиссии. По тротуару прохаживается часовая. Эх, была не была! Я быстро перебежал улицу, и, поровнявшись с часовым, молча протянул ему повестку.

— Заходи. Вторая дверь наверху, — спокойно сказал часовый.

В просторном вестибюле, у коричневой доски с дверными ключами, сидели красноармейцы. Они сразу, только я вошел, обернулись в мою сторону.

— Где... здесь... комната... двенадцать? — запинаясь спросил я. И в эту минуту среди красноармейцев я узнал посыльного — молодого веснушчатого парня, который приносил мне вчера письмо. Он тоже узнал меня, улыбнулся и вышел навстречу.

— Пришел, говоришь? Дай-ка повестку, так уж и быть — проведу по знакомству. Тебе в двенадцатую?

Я подал ему измятый конверт и попробовал тоже улыбнуться, но улыбка у меня получилась кислая, кривая. Швырнув в плевательницу конверт и прочитав повестку, посыльный сказал:

— Пойдем, парень!

Проводив меня на второй этаж, он сказал, показывая на скамью у дверей какой-то комнаты:

— Сиди тут-ка и дожидайся! Вызовут!

После его ухода я заметил, что в конце этой удобной, с выгнутой спинкой, лакированной скамьи сидел еще какой-то хлопец. Я обернулся к нему и едва не закричал от радости.

— Юзик, и тебя вызвали?

Мне сразу сделалось веселее.

— Вызвали... — смущенно протянул Куница. — А зачем — не знаю...

— А я тоже не знаю! — едва успел сказать я, как открылась обитая клеенкой дверь двенадцатой комнаты и на пороге появилась девушка в высоких зашнурованных ботинках.

— Заходите, ребята! — пригласила она.

— Мне... к Кудревичу! — опешив, сказал я.

— Знаю. Кудревич — это я! — чуть улыбнувшись, объявила девушка. — Проходите быстрее да усаживайтесь!

Очень светлая, продолговатая комната. Три окна ее выходят на Семинарскую. Сквозь стекла видны верхушки серебристых тополей, растущих перед зданием, в палисаднике. Около двери на стене висит большая карта, а сбоку стоит шкаф.

Видно, эта девушка — большой начальник, раз у нее есть в этом доме своя отдельная комната,

почти такая же, как кабинет директора украинской гимназии Прокоповича.

Мы осторожно уселись на стулья у затянутого зеленым сукном письменного стола. Стол совсем чистый, будто только что купленный, — ни одной бу-
мажки не видно.

— Ну, как живете, хлопчики? — спросила девушка и, шумно придвинув к себе кресло, села за письменный стол, наискосок от нас.

Она немного скуластая, но красивая. Смуглый румянец заливает ее щеки. Глаза у Кудревич карие, спокойные, ее ровно подстриженные каштановые волосы заложены за уши. А уши маленькие, розовые. Они совсем не оттопыриваются, как, например, у Куницы. Лицо у Кудревич доброе, веселое. Она, должно быть, умная и хорошо знает географию, раз повесила в своей комнате карту.

— Ну что же вы, рассказывайте, — предложила девушка. — Что у вас тут в городе творилось, когда наших не было!

— Да мы... уходили из города... — медленно, за-
пинаясь, ответил Куница.

— Куда?

— А в Нагоряне.

— Это возле Думанова?

— Ага!

— Долго вы там были?

— Да нет, недолго, дня два, — помог я Кунице.

— А остальное время жили в городе, так? — спросила Кудревич.

— Остальное время жили в городе, — повторил ее слова Куница.

— Гуляли по городу, дрались, в крепость ходили, правда? — прищутив глаза, спросила девушка.

— В крепость ходили! — согласился Куница. — Пришли, а там человека того гайдамаки убивали.

— Какого человека?

— Ну... какого! — вдруг заволновался Куница. — Вы будто и не знаете. А того, что доктор Григоренко выдал гайдамакам, Сергушина. Ему ж памятник в крепости поставили. То мы могилу его показали.

Вы Лейзеровича знаете? От, спросите у него... Да, да, вы знаете... — вдруг смешался Куница, заметив что девушка улыбнулась. — А зачем вы тогда спрашиваете? — протянул он обидчиво и замолк.

— Да, я всё знаю, — спокойно и уже не улыбаясь ответила Кудревич. — Ну, вот что. Я сейчас при вас поговорю с одним человеком, а вы послушаете...

Кудревич поднялась и вышла, но не успели мы перекинуться друг с другом несколькими словами, как она возвратилась обратно, но уже не одна, а с усатым доктором Григоренко. Искоса взглянув на нас, доктор присел на стул напротив следователя. Григоренко держится спокойно, так, будто ему совсем безразлично, о чем его будет спрашивать Кудревич. Григоренко оброс бородой. У него мешки под глазами. Пояска на рубашке нет, и коричневые его туфли не зашнурованы.

— Я возвращаюсь к старому вопросу, — доставая из стола папку с бумагами, — сказала Кудревич. — Я думаю, что вы, наконец, расскажете, каким образом, выдав гайдамакам Сергушина, вы стали свидетелем и даже участником его расстрела?

— Я никого не выдавал... И свидетелем не был... Это клевета... Чистая клевета... — пугливо озираясь, пробормотал доктор.

— Скажите, — не слушая Григоренко, снова спросила Кудревич, — вы, должно быть, хорошо знакомы с Гржибовским? Приятели с ним, так? Чем вы объясните, что он обратился за помощью именно к вам?

— Какой Гржибовский? Какая крепость? Что вы, барышня, в самом деле, выдумываете? — обозлился доктор, чуть приподнимаясь со стула.

— А кстати, доктор, я про крепость вас сейчас совсем и не спрашивала! — улыбнулась Кудревич.

— Да, конечно, сейчас не спрашивали, зато раньше спрашивали! — быстро вывернулся доктор и даже стулом закрипел.

— Значит, в крепости вы тоже не были?

— Да господь с вами, какая крепость? Конечно, не был. Я совсем никогда не хожу туда. Я живу на другом краю города, мало мне дела, чтобы в крепость ходить, — шевеля усами, ответил доктор.

— Как же вы, дядя, не были, когда туда на своей коняке приезжали? И землю щупали, — неожиданно вмешался в разговор Куница.

Доктор хмуро, точно сова, глянул на Куницу и отвернулся к следователю.

— погоди, паренек! — остановила Куницу Кудревич и снова посмотрела на доктора.

— Значит, вы и сегодня утверждаете, что никогда ни с кем в Старой крепости не бывали и с Марко Степановичем Гржибовским не знакомы? Так я вас понимаю?

— Так! — облегченно вздохнул доктор.

— Ну хорошо, — согласилась Кудревич и захлопнула папку с бумагами. Доктор вынул из кармана грязный, мятый платок и утер им свои жесткие усы. А Кудревич, выйдя из-за стола, быстрыми шагами, чуть покачиваясь на высоких каблуках, подошла к шкафу. Хорошо зашнурованные ботинки плотно обтягивали ее ноги. Кудревич приподнялась на носках и, открыв шкаф, достала с верхней полки завернутый в газету тючок.

Она подошла к доктору и развернула перед ним этот тючок.

Да ведь это одежда убитого Сергушина!

— Эта вещь вам тоже незнакома? — спросила Кудревич доктора, вешая на спинке свободного стула выпачканную известкой зеленую рубашку Сергушина.

— Незнакома, а что? — встрепнулся Григоренко.

— Да нет, я просто так спросила! — снова усаживаясь в кресло, сказала Кудревич, внимательно глядя на доктора.

Он заерзал на стуле.

— Послушайте, мадемуазель, я вам уже однажды говорил и сейчас повторяю, — неожиданно, скороговоркой забормотал доктор, — я никогда в жизни не уважал Петлюру, я всегда говорил, что это авантюрист, выскочка и мошенник, я никогда не поддерживал его...

— Да оставьте, — перебила его Кудревич. — Как вам не стыдно, вы ведь старый человек! Сейчас он, по-вашему, авантюрист, а когда он был в городе, вы приютили у себя офицеров из его булавной сотни. Догу и этого... как его, Кривенюка. А какую речь

вы говорили о петлюровской директории, когда город заняли гайдамаки? Помните? А кто адрес Петлюре подносил на губернаторской площади во время молебна? А сейчас вы мне объясняете, кто такой Петлюра! Нужны мне очень ваши характеристики. Да мы и без вас знаем, что такое Петлюра. Расскажи-ка ты, паренек, как было дело, — внезапно обратилась ко мне Кудревич.

Я оторопел и не мог сперва связать двух слов. Но потом, сбиваясь и путая слова, я стал рассказывать, как петлюровцы убивали Сергушина. Я заодно передал Кудревич и Петькин рассказ о том, как доктор Григоренко повстречал Сергушина во флигеле сапожника Маремухи.

Кудревич кивнула головой. Видно было, что всё это она и без нас хорошо знала и что слушала мой рассказ только затем, чтобы заставить сознаться уса- того доктора.

А Григоренко, когда я говорил, всё ерзал на стуле и глухо покашливал, точно напугать меня хотел, чтобы я всего не рассказывал.

— А после, когда они выстрелили, доктор того человека ошупал и руки платочком вытер! — помог мне Куница.

— Да что ж ты брешешь, байстрюк! — неожиданно вскочил доктор, но тотчас же, спохватившись, снова грузно опустился на стул.

— Вы издеваетесь надо мною, мадемуазель! Я Львовский университет кончил, я — доктор медицины, а вы мне здесь очные ставки со всякой босотой устраиваете! Да это выродки — мало ли кто вам что наговорит. Я не был...

— Сами вы выродок... и... брехун! — вдруг, блеснув глазами, зло перебил доктора Куница, но Кудревич в ту же минуту осадила его.

— Тише! — сказала она. — Нужно будет — спрошу.

— Я и говорю... Дайте им волю — они и про вас наговорят, — обрадовался доктор. — Я вам сейчас объясню, почему они про меня выдумывают. У меня сад есть. Знаете... груши, яблоки всякие. Как осень — прямо мука одна, только и гляди, как бы не пооборвали. И всё вот такие шаромыжники, а я им пощады

не даю. Как поймаю, сразу — к родителям. Ну, а они — что? Конечно, злятся на меня. Да вы их побольше еще соберите, они могут вам сказать, что я вор, разбойник, что хотите...

— Ладно, сад, сад! — оборвала доктора Кудревич и крикнула: — Товарищ Кушнир!

Из коридора в комнату вошел красноармеец с винтовкой.

— Внизу, в свидетельской, дожидается меня гражданин Блажко. Приведите его сюда! — попросила часового девушка.

Красноармеец, стукнув прикладом, ушел.

— А вы, ребята, свободны, — сказала нам Кудревич. — Давайте ваши повестки, я отмечу.

Уже внизу, у выхода, мы столкнулись со сторожем Старой крепости. Вон оно что! Так это и есть Блажко! Он держал в руках такую же, как и наши, повестку и, прихрамывая, шел к нам навстречу. Сторож нас не узнал.

На улице Куница возмущенно сказал:

— Ты смотри, ты смотри, как отпирается, холера усатая!

— А ты ему хорошо сказал, что он брехун. Пусть знает!

Мы вышли на Новый бульвар с чувством большого облегчения, чуть усталые и взволнованные. На душе легко, легко. И совсем не жаль доктора. Так ему и надо. Будет знать, как защищать Петлюру.

Вокруг так хорошо пели птицы. То здесь, то там на утопанных глинистых аллеях искрились желтые пятна солнечного света. Спешили куда-то по своим делам суетливые прохожие. Мы побрели вслед за ними.

Сегодня с самого утра идет проливной дождь. Струи дождя стучат по железной крыше. Вода гремит в водосточных трубах и разливается по всему двору мутными, пенящимися лужами. По окнам, извиваясь, бегут прозрачные струйки. В комнатах так темно, будто наступил вечер.

В эту пору со двора к нам на кухню вдруг ввалился Куница — весь мокрый, блестящий от дождя.

— Васька, я уезжаю!

Я изумленно уставился на Куницу.

— Куда?

— В Киев! К дядьке! На, читай!

И с этими словами Куница протянул мне влажное, слегка помятое письмо. Пишет его дядя — тот самый, о котором не раз рассказывал мне Куница. Он плавает старшим механиком на днепровском пароходе „Дельфин“. Дядя зовет Куницу к себе, в Киев. Он обещает устроить его в школу моряков. Пока я, усевшись на топчане, читал письмо, Куница ждал. В мокрых его волосах блестели крупные дождевые капли. Тонкие струйки воды стекали по щекам Куницы.

— Когда едешь?

— Послезавтра. Мама уже пирожки печет на дорогу! — усаживаясь около меня, с гордостью сказал он.

Осторожно смахнув с письма дождевую каплю, Куница спрятал письмо в карман штанов. Я следил за его движениями, и мне стало почему-то очень грустно. Вот Куница уедет в большой город, а мы с Петькой Маремухой останемся здесь одни. Распалась наша компания. Вдвоем уже будет не то. Разве Петька сможет заменить Куницу? Никогда. С ним даже в Старую крепость, и то не полезешь... Эх, жалко, что Куница уезжает.

А он, точно угадывая мои мысли, сказал:

— Вот я выучусь в морской школе на капитана, тогда приезжай ко мне, я тебя бесплатно на пароходе покатаю!

— Да, покатаешь... Когда это еще будет, — с горечью ответил я.

— Когда?.. Ну, когда... Очень скоро... — утешил меня Куница, но говорил он это неуверенно. Видно, он чувствовал, что расстанется со мной надолго.

Дождь как будто перестает. Проясняется.

Юзик подошел к окну. Он провел пальцем по стеклу и, не глядя на меня, сказал:

— А хочешь, попрошу дядю, он и тебя устроит в школу. Приедешь в Киев, будем жить вместе...

— Да, устроит... Он меня и не знает...

— Ничего... Устроит... — так же нерешительно протянул Куница.

Теперь мне стало совсем ясно, что он сам не верит своим обещаниям.

— Васька, хочешь, я тебе турманов подарю? Банточных? — вдруг предложил Куница. — Они хорошие, ты не думай, они тебе таких молодых еще выведут!

— Подари.

— Хорошо! Ты будешь Петькиных голубей подманивать. Приходи завтра после обеда.

— Приду, только смотри — никому не отдавай.

— Ну что ты! — возмутился Куница. — А писать мне будешь? Я тебе оставляю дядькин адрес.

Я записал новый, киевский адрес Юзика, и мы расстались с ним до завтра.

Наступил день отъезда Куницы. Вечером вместе с Маремухой мы отправляемся к Юзику.

У ворот усадьбы Стародомских топчется запряженная в линейку их тощая лошадь. Чтобы отвезти Юзика к поезду, его отец снял с линейки черный фургон — собачью тюрьму.

— Давай, тато, скорей. Опоздаем, — раздался за воротами голос Куницы, и он выбежал на улицу.

Куница одет по-праздничному. На нем голубая шелковая рубашка, сшитая из куска скаутского знамени, — из того самого куска, который достался ему по жребию. Ворот рубашки наглухо застегнут; новенькие перламутровые пуговицы так и переливаются на голубом шелку. На Кунице какие-то особенные серые брюки, чуть ли не из настоящей шерсти, на ногах деревянные сандалии. Я никогда не видел Юзика таким нарядным, гладко причесанным. Ишь, чертяга, как нарядился, прямо франт!

— Ну вот... сейчас поедem, — увидев нас, тихо сказал Куница. Видно, ему было не по себе в этом наряде — он стыдился и своей новой рубашки и новых штанов.

— Это все твои вещи? — спросил Маремуха, показывая на маленькую плетеную корзинку.

— Ага, мои! Тут белье, пирожки... — устанавливая корзинку на линейке, сказал Юзик.

Вышел кривоногий Стародомский с длинным кнутом в руках.

— Тато, можно, чтобы хлопцы тоже с нами поехали? — попросил Куница. — Они пришли провожать меня.

— Ладно, сидайте! — разрешил Стародомский. — И, пока он расправлял поводья, мы уселись на линейку.

— А твоя мама не поедет? — шепнул Маремуха.

— У мамы ноги опухли, ревматизм, — объяснил Куница.

Линейка трогается.

Мы едем к вокзалу. Тощая коняга хорошо бежит — привыкла за собаками гоняться. Линейка так дребезжит и подпрыгивает на камнях, что нам даже трудно разговаривать друг с другом. Лишь за городом, выехав на мягкую и ровную проселочную дорогу, мы заговорили, и Куница напомнил мне:

— Так гляди же, пиши!

— А к нам сегодня Григоренчиха с Котькой за вещами прибежали. Ее выпустили, а доктор еще сидит! А может, его уже расстреляли — кто знает? — прошептал Маремуха, поглядывая на Стародомского.

— С Котькой? А откуда взялся Котька, — настояжился Куница.

— Из Кременчуга приехал. Наверное, горничная ему написала про всё, вот он и вернулся, — объяснил Маремуха.

— И у вас живет, да? — насупившись спросил Куница.

— Нет, что ты! Он не у нас. Он у Прокоповича живет, у директора. Прокопович их взял к себе на квартиру, — с жаром ответил Петька.

— Вы смотрите, не поддавайтесь Котьке! — сказал Куница.

Но вот показался вокзал. Нам уже виден хвост поезда, который и повезет Куницу в Киев.

Эх, счастливый Юзика, уезжает! Хорошо, наверно, жить в Киеве! Ведь Киев — большой, красивый город, в нем много трамваев, и совсем рядом протекает Днепр. Я бы с удовольствием поехал с Куницей вместе.

У железной ограды вокзального палисадника Стародомский осадил лошадь и, соскочив с облучка, привязал поводья к стволу клена. Через маленький грязный зал ожидания мы вышли на перрон. Посадка уже началась. В окнах вагонов видны люди.

— Давай-ка сюда, Юзю! — показал Стародомский сыну на предпоследний вагон, в котором было не так много народу. — Этот до самого Киева пойдет? — на всякий случай спросил он у стоящего в тамбуре красноармейца.

— До Киева, отец, до Киева, — ответил красноармеец, поправляя пояс.

— А ты, служивый, в самый Киев едешь? — заискивая, спросил у красноармейца Стародомский.

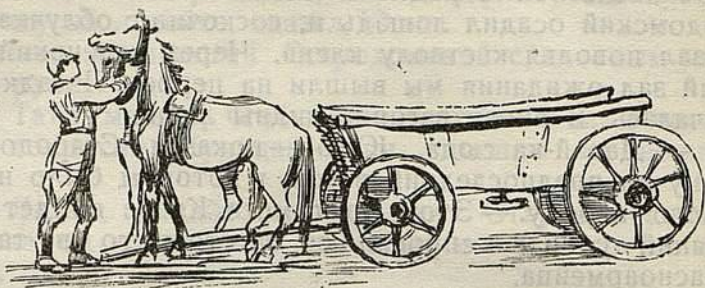
— Я — дальше, в Брянск. В Киеве у меня только пересадка, — охотно объяснил красноармеец.

— Сделай такую милость, посмотри по дороге за моим сынком! — попросил Стародомский. — Он у меня в первый раз по железной пути едет.

— Ладно, не пропадет. У меня рядом полка свободная, — сказал красноармеец.

И вот Куница в вагоне. Через окно видно, как белеет на верхней полке его корзинка. Он расстегнул воротник и высунулся к нам из окна вагона. А мы стоим на перроне рядом с низеньким, кривоногим отцом Куницы. Тяжело бывает провожать знакомых, видеть перед собою мелькающие вагоны отходящего поезда, а еще тяжелее провожать друга, товарища, с которым прожито столько веселых и опасных дней...

А когда загудел в последний раз паровоз и поезд тронулся, я, глядя на уходящие вагоны, почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Квадратик последнего вагона становится все меньше и меньше, стихает далекий стук колес, расходятся с перрона люди, и вскоре пассажирский поезд, увозящий Куницу, исчезает за поворотом в желтеющем широком поле.



ОДИННАДЦАТАЯ ВЕРСТА

На другой день после отъезда Куницы Маремуха принес мне лобзик. Еще вчера я просил его об этом. Я хотел лобзиком пропиливать дырку в стенке крольчатника, чтобы устроить своим турманам настоящую голубятню. Я уже и досок припас для нее и гвоздей. Прежде чем приняться за работу, я предложил Петьке поесть вместе со мной. Тетка ушла на речку полоскать белье и оставила мне в глиняной миске гречневой каши с молоком.

Вооружившись деревянными ложками, мы с Петькой сели за стол и принялись за кашу. В это время из своей комнатки к нам на кухню вышел Северьянов.

— Тише! Ложки поломаете! — засмеялся он, остановившись у порога.

Петька Маремуха сразу присмирел и отложил ложку.

— Слушайте, молодцы, кто из вас знает дорогу в Нагоряне? — вдруг спросил нас Северьянов.

— Я знаю. А что?

— Хорошо знаешь? — пытливо посмотрел на меня Северьянов. Широкоплечий, лохматый, он стоял в дверях, загородив собою весь проход. Ворот его гимнастерки был расстегнут, на груди алели три острокопечные красные петлички — их звали „разговорами“.

— А как же? Хорошо знаю! У меня там дядька

живет, — сказал я, предчувствуя какое-то интересное дело.

— Мне надо за фуражом съездить, — медленно объяснил Северьянов. — Хочешь прокатиться со мной?

Еще бы! Как не хотеть? Но я спокойно, безразличным тоном ответил:

— Верхом поедem или как?

— Нет. На бричке.

— А Петьке можно? — показал я на Маремуху.

Он, бедняга, жалобно, с тоской смотрел на Северьянова. А тот, поглядев на Маремуху, сказал:

— Ну что ж, хорошо, езжайте вдвоем!

Петька чуть не подпрыгнул от радости. Подумать только, какое это счастье: проехать столько верст на казенных лошадях, да еще вместе с красноармейским командиром!

И вот после обеда мы прибежали к Северьянову в епархиальное училище.

У бревенчатой конюшни во дворе училища мы увидели запряженную парой сытых лошадей желтую полковую бричку. Северьянов стоял у входа в конюшню. Он внимательно следил, как маленький белобрый красноармеец запрягал лошадей в забрызганную грязью подводу. На плечах у Северьянова была длиннополая кавалерийская шинель, а на голове — барашковая, с малиновым верхом кубанка. Увидев нас, Северьянов строго спросил:

— Не оделись почему?

— Так сегодня же не холодно, дядя Северьянов! — удивленно ответил я.

— Да, не холодно! Ночью в поле очень холодно. Шпарьте-ка домой и возьмите пальто. Только побыстрее — одна нога здесь, другая там!

Что делать? Ведь бричку уже запрягли. Пока мы добежим до Успенской церкви, ездовой приготовит и подводу. Разве станут они дожидаться нас? Возьмут и покатают сами в Нагоряне. Нет, бежать домой за пальто никак нельзя.

— Дядя Северьянов, у нас нет пальто! Мы так поедem! И не простудимся, честное слово, не простудимся! — сказал я.

— Ах вы лентяи, лентяи, — покачал головой наш

квартирант. — Неохота бежать? Правда? Ну ладно! — И, запахнув шинель, он ушел в конюшню. Вскоре он вынес оттуда потрепанную и обсыпанную соломенной трухой кавказскую бурку с остростоящими плечами.

— Это моя собственная, старинная, — объяснил Северьянов. — Ездил когда-то со мной в обозе. Я уж не думал, что будет нужна, а сейчас пригодится. Ею еще пять таких молодцов, как вы, закутать можно. Ну, залезайте в бричку. Живо!

Я уселся рядом с Северьяновым, а Петька полез на облучок к Кожухарю. Свернутая черная бурка лежала у ног Северьянова. От нее пахло лошадиным потом. Северьянов уложил на бурку две винтовки с ремнями и несколько обойм русских патронов с белыми острыми пулями.

— Поехали! — приказал он Кожухарю. Тот подобрал вожжи и чмокнул губами; лошади двинулись, и мы выехали со двора епархиального училища прямо на Успенский спуск. Дорога предстоит немалая, ехать будет хорошо. Молодец Северьянов, что взял нас с собой! Бричка весело подпрыгивает по булыжникам мостовой. Низенькие пожелтевшие липы, пестро размалеванные вывески парикмахерских, деревянные будочки медников, жестяников мелькают по обеим сторонам дороги.

Вот мы проехали дворик Стародомских. Как жалко, что Куница уехал в Киев. Подождал бы еще денька два — мы бы и его захватили сегодня в Нагоряне.

Мимо нас в новых буденновках проходит рота курсантов военно-политических курсов. Ротой командует пожилой сутулый командир в темнокоричневой гимнастерке.

Мы проезжаем Успенский базар. Дощатые, крытые жестью рундуки закрыты на тяжелые засовы. Прохожие с удивлением поглядывают на нас. Как мы гордимся тем, что едем на полковой бричке вместе с командиром Северьяновым. Смотрите, смотрите! А вот вас не возьмут на бричку, как бы вы ни просились!

Бричка взбирается на гору. Мы выехали на Житомирскую улицу. Вдоль нее тянутся рядами молодые акаци каштановые деревья и высокие грабы. А вот

и усадьба доктора Григоренко! Над резными дубовыми дверьми докторского дома колышется белый флаг с красным крестом посередине. Теперь здесь помещается дивизионный лазарет. На столбе у ворот можно заметить светленькое пятно: оно напоминает проходим, что когда-то здесь висела медная дощечка с фамилией Котькиного отца.

Бричка въезжает на Тюремную улицу. Влево от нас белеет тюрьма. Перед нашими глазами расстилается широкое поле с вьющимся к горизонту Калиновским шоссе. Мы уже за городом. Где-то, за стройными подсолнухами, в траве кричит свое „пить-пить“ перепелка. Пахнет чебрецом, мятой и полынью.

Северьянов закурил трубку. Синий дымок вьется над бричкой и сразу же уносится вольным полевым ветром.

До нагорянского кладбища оставалось совсем немного — каких-нибудь полверсты, как вдруг у нашей брички лопнула задняя ось. Северьянов соскочил на землю. Он осмотрел лопнувшую ось и, крикнув с досады, достал из брички свою шинель, винтовки, патроны, черную бурку и бросил их на траву.

— Вот ведь петрушка приключилась, будь ты неладна! — с сердцем произнес Кожухарь.

Подвода, которая ехала позади, догнала нас. Белобрысый красноармеец спрыгнул с облучка и подошел к Кожухарю. Вдвоем они ощупывают ось, советуются.

Из села к нам навстречу идет сутулый крестьянин в коричневой свитке. Поровнявшись с нами, он снял шапку и поклонился.

— Добридень!

— Здравствуй, отец, — ответил Северьянов, — скажи, где тут кузница?

— Кузня? А вон за церковю, на горбкови.¹

— А Манджура в селе сейчас? Вы его знаете? — спросил я у старика.

— Авксентий? В сели, в сели. Вин у нас голова сельрады!

— Кто, кто? — заинтересовался Северьянов. — Манджура? Он что, председатель сельсовета?

¹ На бугре

— Эге ж! — подтвердил крестьянин.

— Твой дядя? — тихо спросил у меня Северьянов. Я кивнул головой.

— Хорошо я, значит, сделал, что взял тебя, — улыбнулся Северьянов. — Давай тогда искать твоего дядьку. — Подойдя к Кожухарю, Северьянов приказал: — Вот тебе, Петра, винтовка, патроны. Езжай полегонечку в кузницу. Как-нибудь дотащишься. А потом шпарь в город один — мы на подводе доедем... Ну, садитесь, ребята.

Миновав кладбище, мы заезжаем во двор к Авксентию. Дядьки нет дома, и Оська мчится за ним в сельсовет.

Авксентий радостно встречает нас. Я его познакомил с Северьяновым.

В хате дядька рассказывает:

— А в селе у нас новостей, новостей! Староста наш прежний, Бохонько, таки удрал с гайдамаками, пес поганый. Мельницу водяную у помещика Тшилятковского мы отобрали. Главный мельник у нас теперь Прокоп Декалюк — вы ж его, наверное, знаете? А я, кто я — как бы вы думали? — смеется дядька. — Такая шишка, не дай бог! Я голова сельрады! Верное слово. Был сход — беднота меня и выбрала. „Ты, — говорят, — Авксентий, натерпелся от гайдамаков, так будь у нас теперь за главного“. Ясное дело, куркулой как недовольны. Знают, лихо им в бок, что я покажу им бенефис! Они уж мне записки кидали: „Не загибай, Авксентий, — подожжем!“ Так я и испугался. Вот погано только, что они с бандитами снюхались, а те немалую škodu могут селу сделать. Их же много теперь по лесам шляется.

Тем временем жена Авксентия ставит на стол миску с зеленым борщом и каравай хлеба. За едой Северьянов договаривается с дядькой о поставке фуража.

— К четвергу подготовлю тебе десяток возов, а сейчас дам подводу своего, — обещает Авксентий.

Потом дядька говорит:

— Вот получу первое жалованье, пошлю вам в город муки пуда два, сала и Оську. Нехай учится у вас в городе. Так и передай Мирону.

Вот будет здорово, если Оська станет жить у нас. Я очень рад этому: мы с Оськой заживем на славу!

Оксана разостлала на столе вышитое полотенце. Потом принесла в подоле грудку яблок-цыганок и высыпала их на стол. Яблоки были твердые и чуть продолговатые.

— Ну как, племянничек, много ты стекол побил за это время? — спрашивает Авксентий, видя, как я уплетаю вместе с Маремухой яблоки.

— Он — герой, дорогу нам сюда показал, — заступается за меня Северьянов. — Мы вот его скоро в комсомол определим, пусть только подрастет немного.

Темнеет. В горницу вошла Оксана, шлепая по глиняному полу босыми ногами. Она зажигает коптилку.

— О да, мы заговорились! — сказал Северьянов. — Ну, спасибо, хозяин, за яблоки да за сено. В четверг я пришлю к вам обоз. — И, встав из-за стола, он протянул руку Авксентию.

Пока мы прощались, Северьянов надел шинель и туго застегнул ее на все крючки. Потом перебросил через плечо ремень своего тяжелого маузера. На дворе уже прохладно. Хорошо, что Северьянов захватил для нас бурку.

Мы еще раз попрощались с Оксаной, с Оськой и Авксентием и полезли за Северьяновым на подводу с сеном.

— Присылайте к нам Оську поскорее! — закричал я сверху дядьке.

Мы легли животами на мягкое, упругое сено и укрылись буркой. Северьянов улегся рядом с нами — большой, чубатый, от него здорово пахло табаком.

Ездовой — низенький красноармеец — примостился с винтовкой в руках где-то внизу, на облучке; он почти закрыт нависающей над ним копной сухого сена. Нам видно только, как дрожат внизу туго натянутые им вожжи. Лошади, почуяв дорогу домой, упрямо мотают головами, — крепкие постромки то и дело трут их шелковистую кожу.

Мы глядим вперед на дорогу, по которой, подсакивая и качаясь, едет наша подвода.

За березовой балкой всходит луна. Чем дальше мы едем, тем сильнее ее голубоватый свет заливает окрестности.

Когда мы выехали с проселочной дороги на ровное шоссе, Северьянов слегка приподнялся и вынул из кобуры свой маузер. Щелкнул предохранитель.

Вдоль шоссейной дороги потянулся частый сосняк. Все реже и реже мелькают случайные прогалины. Чем ближе мы подъезжаем к городу, тем гуще становится лес. Теперь плотная стена деревьев уже окружает с обеих сторон ровное Калиновское шоссе.

Вдруг — только мы перевалили через бугор и стали спускаться вниз, — из придорожной канавы наперерез нам выскакивают три человека.

Кто это? Неужели бандиты?

Ну да, бандиты!

— Сто-ой, холер-р-а!..

Это закричал бандит, изо всей силы схватив под уздцы наших лошадей.

Испуганные кони, захрапев, круто повернули в сторону и потащили за собой бандита.

Подвода стала поперек дороги. От неожиданного и резкого поворота я чуть не слетел вниз.

— А ну, слезай, собачья кровь! — скомандовал ездovому бандит, остановивший лошадей. Два других медленно, опустив револьверы, подходят к лошадям. Они, наверное, думают, что ездovый на телеге один.

— Тащи его оттуда, паскуду! — хрипло выругавшись, потребовал один из бандитов.

И в эту минуту, не успели мы даже опомниться, около нас хлопнул сухой, резкий выстрел. Маремуха от испуга схватил меня обеими руками за плечи.

Выстрелил Северьянов. Он чуть приподнялся над сеном. Его каракулевая кубанка слетела. Почти к глазам прижав длинный маузер, он стреляет по бандитам. Видно, как из тонкого ствола маузера вылетают остренькие лучики огня. Кто-то из бандитов, крикнув, тяжело повалился. Остальные двое метнулись в сторону. Вот они с размаху, один за другим, перепрыгнули канаву и пропали в густом лесу. Внизу под нами грохнул гулкий выстрел. Это пальнул из винтовки

по убегающим бандитам ездовой. Эхо прокатилось над безмолвной листвой и замерло.

Как тихо стало сразу вокруг. Слышно только, как слева от нас, в лесу, куда убежали бандиты, трещит валежник. Кажется, будто какой-то полуночный встревоженный зверь, покинув свое логово, мчитя среди деревьев. Внизу под колесами застонал подстреленный Северьяновым бандит.

— погоди, Степан, не стреляй! — громко, но совершенно спокойно приказал ездовому Северьянов. Потом с маузером в руке он спрыгнул на землю.

— Гляди по сторонам! — тихо приказал ездовому Северьянов, а сам подошел к бандиту.

Нам с Петькой стало жутко оставаться на подводе.

— Слезем, а, Петька? — шепнул я Маремухе, кивая на дорогу.

Тихонько, цепляясь руками за веревку, мы спрыгнули на шоссе и подошли к Северьянову. Он опустился на корточки возле подстреленного бандита и обыскивает его. Страшно, но и мне хочется посмотреть на бандита. Пересиливая страх, я наклонился.

Бандит уже не шевелится. Его лицо залито кровью. Левая рука запрокинута назад, точно он хочет схватить камень.

Я вздрогнул... Нет... не может быть... я ошибся...

Я наклонился к бандиту совсем близко, и снова мурашки забегали у меня по коже. Бандит очень похож на Марко Гржибовского.

— Петя, это не Марко? — толкнул я под бок Маремуху.

Петька тоже наклонился к бандиту, но тотчас же отпрыгнул.

— Марко!.. — испуганно прошептал Маремуха и попятился назад.

Ну конечно, это Марко, широколобый курносый Марко, сын колбасника пана Гржибовского. Это его упрямый лоб, его крутая шея. Да ведь и френч-то на нем, кажется, тот самый, английского покроя, с высоким стоячим воротником, в котором мы видели Гржибовского последний раз в Нагорянах.

— Дядя Северьянов! Это Марко Гржибовский! Мы его знаем! — сказал я нашему квартиранту.

Но Северьянов, вместо ответа, строго приказал:
— А ну, пошли на сено! Без вас разберутся!

Он, видимо, не хотел, чтобы мы смотрели на убитого. Мы отошли в сторонку, и только было собрались лезть вверх, на сено, как вдруг за перевалом громко застучали колеса какой-то подводы.

Едут к нам.

А что, если это спешат на выручку приятели Марко Гржибовского? Мы притаились в тени за нашей подводой с сеном. Мне кажется, что лес подкрадывается к нам с обеих сторон, с голенастыми своими соснами, с ветвистой ольхой, с низеньким кустарником. Лошадиный топот и дребезжание колес раздаются все громче. Внезапно из-за бугра вылетает запряженная парой коней бричка и, не доехав шагов пяти до нашей подводы, останавливается.

— Кожухарь, ты? — неуверенно спросил Северьянов, подняв навстречу маузер.

— Товарищ начальник, я тебя малость не признал, — радостно откликнулся из брички Кожухарь и, прыгнув на землю, с винтовкой в руке побежал к Северьянову, но, чуть не наступив на руку Марко, отпрыгнул и растерянно протянул:

— Э, да у вас тут... — но не договорил. Он с изумлением стал разглядывать освещенное луной мертвое тело Гржибовского.

— Ладно, поехали! — коротко распорядился Северьянов и спрятал маузер в деревянную кобуру.

И вот через несколько минут мы едем дальше, к городу. Мы с Петькой лежим на сене, едва дыша, не шевелясь. Я пристально вглядываюсь в лесную чащу. Теперь мне кажется, что из-за каждого ольхового ствола выглядывает бандит. Тень деревьев хорошо скрывает бандитов, а мы, наоборот, освещены луной и видны отовсюду отлично. Зачем только ездовой так быстро гонит лошадей? Ехал бы потише! Ведь подковы так звонко цокают по щебенке!

Стук лошадиных подков и громохание колес разносятся по всему лесу. Наверное, услышав этот грохот, приятели Марко Гржибовского — страшные, волосатые бандиты — уже подползают к дороге, чтобы отомстить нам. В руках у них бомбы, обрезы. В этом

дремучем лесу они хозяева — каждая тропа им знакома.

Но вот уже заискрились за лесом далекие огни епархиального училища. Уже близок город. Там стоит полк Северьянова, там живет мой отец. В городе горят на улицах электрические фонари, а на мосту возле крепости стоит часовой. Если бандиты погонятся за нами, он не пустит их в город. На радостях я крепко прижался к Петьке Маремухе. А хорошо ехать на сене. Теплая бурка греет нас, как одеяло. Мы все ближе подъезжаем к городу. А впереди нашей подводы, на желтой бричке, мой приятель Кожухарь везет в уездную Чрезвычайную комиссию труп Марко Гржибовского.



РАДОСТНАЯ ОСЕНЬ

Занятия в школе начинаются поздней осенью. Уже облетают с деревьев последние желтые листья. Многие зареченские хозяйки ворохами собирают их в мешки на Новом бульваре. Будет чем зимой растапливать плиту и кормить крикливых коз.

Погода стоит ровная: свежие холодные дни, небо синее, ясное, целыми днями не увидишь ни тучки, ни облачка. Воронье в эти прозрачные осенние дни целыми стаями кружится над Старой крепостью, над пожелтевшими ее бастионами. Черноголовые снегири уже качаются на ветвях рябин около доминиканского костела. Они так и хватают своими скрюченными тупыми клювами терпкие рябиновые ягоды. И в наших садах, на Заречье, то тут, то там мелькают пунцовые грудки снегирей. Много их налетело к нам в эту осень! Скоро начнем ловить их силками, обмазанными клеем прутьями.

Над балконом нашей бывшей гимназии, за голыми ветвями каштановых деревьев, краснеет новая вывеска:

ДРУГА ТРУДОВА ШКОЛА

імені

ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

С гимназией покончено, и навсегда! Я пришел в класс как старый знакомый: заново составляли классный журнал, и меня заодно со всеми моими товарищами вписали туда. Новостей в нашей школе уйма! Скоро, говорят, будет выбран ученический комитет. Нас будут кормить сладкой маисовой кашей и сгущенным молоком в блестящих консервных банках, присланных американским Красным крестом.

Пани Родлевская — учительница пения — ходит по коридорам скучная, скучная. Не придется уж, видно, ей больше разучивать с нами „Ще не вмерла Украина“. А новые наши песни петь она еще не научилась. Ее перевели в соседний класс. Говорят, что когда ученики называют ее „товарищ учительница“, она морщится так, будто ей наступили на платье. Вместо Родлевской в учителя пения нам дали Чибисова — того самого, который раньше занимался в высшеначальном училище. Чибисов очень худой и носит дымчатые очки. Так он учитель ничего, смирный, не кричит, когда случается, разгуляешься на его уроке, — беда вот только, что каждый день после уроков он ходит в кафедральный собор. Чибисов — регент: он командует на клиросе соборными певчими. Он весь прокоптился в церковном дыму, от него за версту, словно от попа, пахнет ладаном и палеными свечами.

Природовед Половьян доволен, он бегаёт по лестницам, как угорелый. Он сам снял в актовом зале портреты всех петлюровских министров, выдрал их из рамок и водворил на место под стекло старые фотографии своих животных, а в первую очередь портрет знаменитого муравьяда.

А вот тощего Цузамена что-то не видать. Я слышал, он все болеет, — видно, соскучился по своим немцам. А может быть он просто боится большевиков? Но самая главная и радостная новость, особенно для нас, прежних высшеначальников, это то, что заведующим нашей трудшколой назначен Валериан Дмитриевич Лазарев.

В первый же день занятий он собрал нас в актовом зале и сказал:

— Вы не смейтесь, ребята, что я плохо говорю по-украински. Я хоть и украинец, но учился в русском университете — тогда царь не разрешал студентам заниматься на их родном, украинском языке. Конечно, я кое-какие слова перезабыл. Но сейчас-то мы с вами живем в советской Украине, где большинство населения говорит по-украински. Вот и наша советская трудовая школа будет поэтому школой украинской. И вы будете основательно учить наш родной украинский язык, чтобы знать его хорошо, куда лучше меня. Давайте, хлопчики, жить дружно, не ссориться. Война окончилась, и теперь мы сможем учиться спокойно. Наша школа названа именем великого украинского поэта Тараса Шевченко. Не забывайте никогда его мудрые, простые слова:

Учитесь, читайте:

И чужому научайтесь,

И своего не цурайтесь...

Слушали мы Лазарева внимательно и совсем не думали смеяться, тем более что говорил он по-украински совсем не так уж плохо.

Мы, „внучки“, рады были услышать после долгого перерыва мягкий, спокойный голос любимого учителя, да и те, которые его увидели впервые, встретили Лазарева хорошо. Он всем понравился.

В субботу, через три дня после собрания в актовом зале, мы с Петькой встретили Валериана Дмитриевича возле учительской. Я отважился и спросил:

— Валериан Дмитриевич! А когда вы нам подземный ход покажете?

— Какой подземный ход? — удивился Лазарев.

Тут выскочил Петька Маремуха и заикаясь объяснил:

— А помните, Валериан Дмитриевич, вы нам обещали, еще как Петлюры не было?

— Погодите... Погодите... А ведь верно, мы собирались осмотреть подземный ход возле крепости.

— Ага, ага! — закричал Петька Маремуха.

— Ну что ж, можно сходить.

— Правда, Валериан Дмитриевич? — даже не поверил я сначала, а Петька Маремуха протянул:

— А как же мы туда пойдем, раз у нас фонаря нет?

Валериан Дмитриевич улыбнулся.

— Это в самом деле заковыка. Ну хорошо, я велю Никифору раздобыть фонарь.

Пока шел последний урок, наш старый знакомый, сторож Никифор, откопал на складе фонарь и налил его казенным, школьным керосином.

Не успел замолкнуть звонок, не успел природовед Половьян захлопнуть классный журнал, как я вырвался из класса в коридор.

Следом за мной выскочил Петька и, позабыв, что из соседних классов еще не вышли учителя, заорал на весь этаж:

— Васька, подожди, Васька!

На полу, около дверей в учительскую стоял старый, покрытый ржавчиной фонарь „летучая мышь“.

Я, не долго раздумывая, схватил его. Тут подбежал Маремуха, увидев фонарь, он сморщился от огорчения, но потом, поразмыслив, сказал небрежно:

— Подумаешь, надо мне руки керосином пачкать...

Из учительской в фуражке, с клубком шпагата подмышкой вышел Валериан Дмитриевич.

Из-под чесучевой куртки у него выглядывала вышитая украинская рубашка, а на бархатном околыше форменной фуражки виднелась дырка от снятой кокарды.

— Уже собрались? — спросил Валериан Дмитриевич, оглядывая нас, и протянул Маремухе клубок шпагата: — Неси!

Петька, гордый доверием Лазарева, быстро метнулся к лестнице.

На улице Петька посмотрел на Лазарева и спросил:

— А где ваша кокарда?

Лазарев быстро ощупал фуражку и растерянно сказал:

— Потерял!

И стал искать кокарду на земле.

Тут я заметил, что он улыбается. „Ладно, ладно, — подумал я, — не проведешь!“ Маремуха тоже понял, что директор шутит, и протянул:

— Нет, в самом деле, Валериан Дмитриевич?

Лазарев улыбнулся и сказал:

— Хитрые! Ну снял ее. Не нужна больше.

— А вы ее... выкинули? — осторожно спросил Петька.

— Да нет, валяется где-то дома.

Петька помолчал, пошмыгал носом, а потом вдруг, заглядывая в глаза Лазареву, дрожащим голосом спросил:

— Подарите ее мне, Валериан Дмитриевич?

— Кокарду? А зачем она тебе?

— А так... я всякие значки собираю...

„Ну и попрошайка! — подумал я про Петьку. — И не стыдно тебе?“

— Ну что ж, подарю, — сказал Лазарев.

— Правда? Ну вот спасибо! — сказал Петька и расцвел весь от радости.

Через несколько минут, когда мы спускались на Крепостной мост, Петька сказал:

— А знаете, Валериан Дмитриевич, дурные люди боятся этого подземного хода. А я — ни капельки! Мы вот ходили летом с Васькой в Нагоряне. Там есть такие здоровенные Лисьи пещеры. Мы все их облазили — и ничего!

„Ну что ж ты брешешь? — чуть не закричал я. — Ведь мы не были в самих Лисьих пещерах“.

Но Петька сам сообразил, что на радостях заврался. Он покраснел, застыдился и глянул на меня такими жалобными глазами, что мне стало жаль его.

Я решил не выдавать Петьку. „Вот хвастун! — подумал я только. — Ни капельки не боишься, да? Посмотрим, что-то ты запоешь там, под землей.“

Подземный ход начинался у обрыва, под высокой стеной.

Снаружи он был похож на самый обыкновенный вход в погреб. Куда-то вниз вели белые каменные

ступеньки, на половину засыпанные мусором и навозом. Прямо на груде мусора, посреди входа, вырос большой куст ядовитого болиголова. Из подземелья до нас донесся тяжелый запах плесени, гнилого дерева.

Не сказав нам ни слова, Валериан Дмитриевич вынул из кармана спичечный коробок, чиркнул спичку и, заслоня ладонью от ветра дрожащий ее огонек, зажег фонарь. В фонаре вспыхнула и сразу же погасла паутина, и ровный язычок пламени, почти незаметный здесь, на улице, потянулся вверх и стал гореть спокойно, как в комнате.

— Теперь привяжи шпагат! — скомандовал Лазарев Маремухе.

Петька стал на колени и, высунув от волнения кончик языка, привязал шпагат к столбику, который торчал около самой дороги.

— Ну что ж, тронулись?

С этими словами Лазарев первый шагнул вниз по ступеням. Через минуту его белая спина пропала в темноте. Спускаясь вслед за Лазаревым, я заметил, что часовой в серой папахе машет нам на прощание рукой. Я поднял руку, чтобы и ему помахать тоже, но тут меня подтолкнул Петька, и я очутился в темноте, едва разгоняемой светом фонаря. Не успели мы пройти несколько шагов, как подземный ход круто повернул вправо, под Старую крепость, и светлое отверстие выхода скрылось из виду.

Сколько мы шли — не знаю. Но шли долго. Нас окружали со всех сторон покрытые плесенью камни. Подземный ход был похож на узенький коридор. Итти надо было согнувшись. Я шел следом за Валерианом Дмитриевичем и почти ничего, кроме белой его спины, не видел. Где-то совсем рядом, разматывая клубок шпагата, посасывал Маремуха.

— Осторожно. А ну, посвети! — сказал Лазарев.

Я с ходу ткнулся фонарем прямо в его спину. Поднял фонарь и посветил. Сбоку, из стены, так, будто их вымыло подземной рекой, вывалились камни. Они лежали перед нами, засыпанные глиной и песком. Откуда-то снизу потянуло сыростью.

— Тише, ребята! — сказал Лазарев и взял у меня фонарь.

Я сперва даже растерялся. Как же я буду теперь без фонаря? А что, если этот ход выведет нас прямо в колодец Черной башни и мы бултыхнемся в быструю подземную реку?

Но Лазарев, держа фонарь перед собой, стал смело перебираться через груды камней. Вот он перелез, остановился и посветил мне. Огонь фонаря слепил глаза, ноги разъезжались в разные стороны, я почти ощупью прошел по неровному, сыпучему грунту и остановился около Валериана Дмитриевича. Дальше мы пошли рядом. После завала ход стал шире и чище. А земля под ногами пошла тверже, словно ее нарочно утрамбовали.

Я решил, что теперь уже ничто не помешает нам двигаться вперед, как вдруг Лазарев снова остановился.

Глухая деревянная перегородка преграждала путь. Кто-то нарочно и, повидимому, очень давно заколотил подземный ход досками. Толстые широкие доски покрылись плесенью, а сбоку, там, где они были прибиты к столбу, на них вырос целый куст поганок.

— Вот тебе и фунт изюму! — сказал Лазарев, оглядывая перегородку. Он повернулся к нам, прищурился и, хитро улыбаясь, спросил: — Повернем, значит, обратно?

Наступило молчание.

Назад идти не хотелось. Стоило спускаться сюда, чтобы, встретив на пути паршивую стенку, повернуть обратно.

Я подскочил к перегородке, просунул обе руки в щель между скользкими досками и, упираясь ногами о нижнюю доску, сильно потянул перегородку на себя. Не успел я опомниться, как лежал уже на земле. Доски от старости прогнили, и потому я совсем легко отодрал верхнюю, а нижнюю продавил внутрь. Ноги мои были теперь по ту сторону перегородки, а скользкая, сырая доска лежала на груди.

„А вдруг меня кто-нибудь потащит за ноги к себе с другой стороны подземного хода?“ подумал я и вскочил.

— Ты, Манджура, настоящий богатырь, — похвалил меня Лазарев.

Мы без особого труда отодрали еще одну доску и пролезли друг за другом через перегородку.

Теперь мы шли по настоящим подземельям, где, возможно, уж много лет никто не ходил.

Я шел, довольный и гордый тем, что разрушил перегородку. Если бы не я, мы и в самом деле повернули бы обратно. Будет что порассказать хлопцам в школе. Даже сам Лазарев назвал меня богатырем. А это что-нибудь да значит!

Итти было легко, приятно — под ногами лежала не то пыль, не то труха. Ноги неслышно ступали по ней. Вдруг у меня под ногой что-то хрустнуло и зазвенело.

— Валериан... — выкрикнул я и не договорил.

Лазарев сразу же опустил фонарь, и я увидел под старой холодной стеной чьи-то кости и рядом с ними белый, уткнувшийся глазными впадинами в землю круглый череп.

— Что такое, Васька? А? — прошептал Маремуха, наваливаясь на меня сзади.

Я не ответил Маремухе. Мне стало страшно. Теперь я даже пожалел, что мы пошли сюда. Скелет лежал прямо на земле длинный и узкий, кисти рук были вытянуты вперед. Между ними, точно круглый булыжник, белел череп. Лазарев смело нагнулся и поднял с земли зазвеневшую цепь. Я увидел кандалы. Белые кости сразу высыпались из круглых кандалных очков на землю.

— Кто это? — чужим, придавленным голосом спросил Маремуха.

— Кто это? — спокойно повторил Лазарев, позванивая кандалами и поднося их почти к самому лицу. — Трудно сказать. Можно только догадываться... Давайте подумаем.

С минуту мы все молчали.

Вздрагивая, горел фонарь. Неровные отблески огня прыгали по стенам. В тишине подземелья было ясно слышно дыхание каждого из нас.

— Давайте подумаем, — медленно повторил Лазарев. — Когда уманский полковник Гонта вместе с Максимом Железняком поднял восстание против польских панов, известное в истории под названием Колиивщины,

польские паны подавили это восстание и стали ловить казаков Гонты. Здесь, в нашей Старой крепости, тоже сидели перед смертью пойманные поляками казаки. Кто знает, может, этот человек и есть один из них?

Помолчав немного, Лазарев добавил:

— А возможно, это один из друзей славного повстанца Кармелюка. Бедняга погиб здесь не так давно. Я сужу по кандалам. Им лет полтора ста, не больше. Во всяком случае, хлопчики, человек этот не был паном, иначе не стал бы он умирать здесь в кандалах...

Я нагнулся и только хотел дотронуться до черепа, как Маремуха заголосоил:

— Не надо, Васька, не надо!.. — И шарахнулся в сторону.

— Не надо трогать. Оставь! — строго сказал мне Лазарев.

Мы пошли дальше, но теперь уже безо всякой охоты. Мне казалось, что мертвецы подстерегают нас со всех сторон.

...Я представил себе, как умирал здесь, в подземелье, этот неизвестный человек. Наверное он долго бился своими закованными руками о перегородку и так и не мог ее разломать... Он метался по темным переходам, искал другого выхода, затем снова возвращался к перегородке, и наконец, обессиленный, измученный пытками навсегда упал на эту сырую землю.

Конечно, он приятель Кармелюка! Ведь только Кармелюк и его друзья могли решиться удрать из этой страшной крепости. Наверное вот этот человек вместе с Кармелюком подстерегал на гористых дорогах Подолии польских панов, мстил им за издевательства над бедным людом. Должно быть вместе с Кармелюком этот человек скрывался в густых подольских лесах и где-либо на привале, в глухом, неизвестном панам байраке, пел вполголоса тихой звездной ночью песню храброго Кармелюка:

Вбоги люди, вбоги люди,
Скризь вас, люди, бачу.
Як згадаю вашу муку,
Сам не раз заплачу.

Кажуть люди, що щасливый,
Я з того смиюся,

Бо не знают, як я часом
Сльозамы заллюся.

Куди пиду, подывлюся, —
Скризь багач пануе,
У роскошах превельких
И днюе й ноче...

...И, наверное, когда кончалась эта грустная, протяжная песня, наступал рассвет, и звезды одна за другой гасли на небе. Тогда при отблесках потухающего костра товарищи Кармелюка, собирая оружие и готовясь выступить, затягивали новую, смелую песню:

Гайда, хлопци, гайда, хлопци,
И я буду з вами!
Нападемо мы на панство
Темными шляхами!

И, должно быть, первый, кто запевал эту песню, — был сам Устим Кармелюк. Я вспомнил всё то, что рассказывал нам Лазарев об Устиме Кармелюке, и увидел его, в предрассветном лесу, в полумраке глухого оврага, — рослого, плечистого, запахивающего коричневую чамарку из домотканого крестьянского сукна; я увидел грозное и смелое лицо его с клеймом, выжженным раскаленным железом на широком лбу. Я увидел, как Устим Кармелюк, подпоясавшись, нахлобучивает папаху, берет в одну руку старинный, курковый пистоль, в другую — суковатую палку и говорит своим друзьям:

— Рушаймо, хлопци! Почастуемо панив!¹

...Так, думая о Кармелюке, я шел за Лазаревым дальше по подземному ходу.

Рядом посапывал напуганный Маремуха.

Я протянул руку и нащупал клубок шпагата, который он держал перед собой. Шпагата оставалось совсем мало. А что если мы здесь заблудимся?

Я хотел попросить Валериана Дмитриевича повернуть обратно, но не решился. „Хорошо еще, что красноармеец заметил, как мы пошли сюда, — подумал я, — в случае чего он пришлет нам на выручку своих товарищей“.

¹ Трогаемся, хлопцы. Угостим панов.

— Стойте! — сказал Лазарев и поднял руку.

Размахивая фонарем, он осторожно вошел в небольшую залу. Вправо в стену уходила черная квадратная дыра, а в левом углу залы темнели две щели. Лазарев повернул налево, и когда мы с ним подошли к щелям, то увидели, что продолжение хода — здесь. Правда, ход был заложен большим квадратным камнем, но Лазарев сильно надавил камень одной рукой, и эта огромная глыба гранита повернулась на железной оси и стала поперек. Теперь по обе стороны каменной двери чернели высокие узкие щели. В каждую из них мог пролезть человек. Лазарев молча передал фонарь Петьке, а сам, опираясь руками о камень, заглянул вперед. Петька светил фонарем.

— Предположим, что сюда идет главный ход. Ну хорошо, а что же это такое? — И с этими словами Лазарев подошел к маленькой квадратной дырке, что чернела в стороне под самым потолком. Мы двинулись за Валерианом Дмитриевичем. Не пройдя и двух шагов, я споткнулся о камень.

— А ну, посвети! — шепнул я Маремухе.

Маремуха вытянул руку с фонарем так, словно на земле лежал новый череп. Он успокоился, лишь хорошо разглядев, что под ногами у меня обыкновенный квадратный камень. Наверное им-то и была заслонена черная дырка, в которую заглядывал сейчас приподнявшись на цыпочки, Лазарев. Вдруг Лазарев просунул в дырку руку и стал один за другим отваливать камни. Тяжело ухая, они падали на землю, и полукруглый свод подземной залы трясся при каждом таком ударе. Лазарев смело отбрасывал камни, и за ними открывалась черная пустота. Когда дыра стала большой и круглой, Лазарев, кивая на черную впадину, сказал:

— Сюда пойти, по-моему, интереснее. Как вы думаете, а, ребята?

Мы молчали и, по правде сказать, думали только о том, как бы побыстрее выбраться отсюда на волю, на солнце, на свежий осенний воздух. Не дождавшись ответа, Лазарев махнул рукой в сторону входа, загороженного камнем, и добавил:

— Главный-то путь, разумеется, там. Но туда мы

пойти всегда сумеем. Давайте лучше заглянем в этот тайник.

И Валериан Дмитриевич, взяв фонарь у Петьки, шагнул к выломанной в стене дыре. Мы полезли за ним.

Итти сейчас было гораздо хуже, чем раньше.

Из земли то и дело высывались острые камни, дорога пошла в гору. Но не успели мы сделать и пятидесяти шагов, как подъем кончился, и мы стали куда-то спускаться. И чем дальше мы шли, тем круче был спуск и уже становился подземный ход. Вдвоем тут протискаться было невозможно. Лазарев шагал впереди, позванивая снятыми со скелета кандалами и размахивая фонарем, как кадилом. Но потом он пошел медленнее, ощупывая стены свободной рукой. Ноги так и скользили вниз, я тоже упирался руками о влажные стены, чтобы не натолкнуться на Лазарева. Снизу всю тянуло сыростью.

— Валериан Дмитриевич! Подождите! — крикнул я, и голос мой сразу же замер в этом сыром, затхлом воздухе. За шиворот капнула вода. По стенам журчали ручейки. Я уже шел по воде, и мне даже почудилось кваканье лягушек. Я пожалел Лазарева, — он, наверное, уж промочил свои хорошие ботинки. Нам-то что, у нас худые, а вот ему плохо. Но только я подумал об этом, как откуда-то сверху повеяло свежим воздухом. Я сделал несколько шагов и почувствовал, что ход снова пошел вверх. Тут было суше. Воды как не бывало.

— Подожди, Васька! Не так быстро! — взмолился, догоняя меня, Маремуха.

— Ну давай скорей! — цыкнул я на Петьку, и мы стали карабкаться всё вверх и вверх, пока я снова не натолкнулся на Лазарева.

Он стоял согнувшись и освещал засыпанную мелким щебнем стену.

Подземный ход кончился.

— Вот так, так! Тупик! — сказал нам озадаченный Валериан Дмитриевич.

И впрямь было похоже, что здесь тупик, но воздух тут был чистый, свежий, настоящий воздух.

— Подержи, Манджура, — сказал Лазарев, протяги-

вая мне фонарь. — А ну-ка, попробуем! — И Валериан Дмитриевич изо всей силы ударил ногой в стенку.

И сразу же нога его ушла в мягкий, сыпучий грунт, а когда Лазарев вытащил ногу, мы увидели круглую дыру, а за ней — солнечный свет.

Руками мы быстро разгребли землю и, когда нора стала широкой, посторонились, чтобы дать дорогу Лазареву. Я вылез из подземного хода последним и сперва даже не мог сообразить, где мы находимся. Рядом с норой, окруженной кустами язвения, поднималась высокая зубчатая стена какой-то башни. В двух шагах от башни начинался обрыв; далеко внизу, сжатая скалистыми берегами текла блестящая под солнцем река. И только взглянув налево и увидев там, на холме, обращенную к нам тыльной своей стороной Старую крепость, я понял, что мы попали в предместье Татариски, версты за полторы от нашего Заречья.

— Я думал, что мы в Калиновском лесу выйдем, а тут, смотри, как близенько! — с огорчением сказал Маремуха и добавил: — Надо было по тому ходу итти.

— Ну давай пойдём! — отозвался я. — Полезли назад?

— Нет, что ты! — испугался Маремуха. — Уж поздно.

И, словно побаиваясь, чтобы я не потащил его обратно в эту черную дыру, Петька отошел в сторону, к высокой сторожевой башне.

— Валериан Дмитриевич! Валериан Дмитриевич! — вдруг закричал он. — Смотрите, тут что-то написано!

— Где написано? — спросил Лазарев, подходя к Петьке.

— А вот, смотрите! — показал Петька, задирая голову вверх.

Над входом в сторожевую башню была вделана в каменную стену узкая мраморная плитка. На ней была высечена надпись:

FELIX REGNUM, QUOD TEMPORE PACIS TRACTAT BELLA

— Это поляки написали, правда, Валериан Дмитриевич? — радостно выкрикнул Маремуха.

— Нет, турки, хотя и написано по-латыни, — сказал Лазарев. — Надписи этой лет двести пятьдесят. Только вот как ее перевести? Постойте... — И Лазарев зашевелил губами, шепча про себя какие-то слова.

Мы, выжидая, смотрели на него. Наконец Лазарев весело сказал:

— Ну вот, здесь приблизительно написано так: „Счастливо то государство, которое во время мира готовится к войне“.

В ту минуту я еще больше стал уважать Лазарева. Петька Маремуха смотрел Лазареву прямо в рот. Видно, Петьке было очень приятно, что он первый заметил и показал Валериану Дмитриевичу эту беленькую плитку.

А Лазарев поглядел вокруг, подобрал с земли кандалы и сказал:

— Ну, так вот, — давайте, хлопчики, по домам! Нагулялись мы с вами сегодня — пора и честь знать.

— А мы еще полезем сюда? — спросил я.

— Обязательно! — пообещал Лазарев. — Соберем побольше охотников, да в воскресенье на целый день пойдем ход смотреть. Помните, как в крепость с вами тогда ходили?

— В высшеначальном, да? — подсказал Маремуха.

— Помните, значит? — улыбнулся Лазарев и шагнул вперед.

Мы проводили Лазарева до самого бульвара, там попрощались с ним и пошли к себе на Заречье обедать. Возле Старой усадьбы мы бросили жребий, кому послезавтра нести в школу фонарь. Вышло, что фонарь понесет Маремуха.

А я усталый, довольный сегодняшней прогулкой, побежал домой с пустыми руками.

Из Нагорян к нам в город приехал Оська. Он привез нам от Авксентия пшеничной муки, гречки и сала. Оська спит на том самом сундуке под окном, где когда-то ночевал Сергушин. Оську без экзаменов приняли в наш класс, и я теперь уже не опаздываю в школу. В деревне он привык вставать с петухами, и здесь, в городе, всегда просыпается первым и будит меня.

Часто во время перемен мы выбегаем с ним на площадь за каштанами. Мы отыскиваем их в кучах пожелтевших листьев, набираем полные карманы и айда обратно, на третий этаж. Очень приятно швырять каштаны с балкона через площадь, — они летят, точно пули. Оська так наловчился, что добрасывает их до самого кафедрального собора — однажды даже Прокоповичу каштаном в спину угодил. Его, нашего старого бородатого директора, мы видим часто. Он пошел в попы и служит в соборе. Станным показался он нам, когда мы увидели его в первый раз в длинной зеленой рясе, с тяжелым серебряным распятием на груди.

Позанимались мы спокойно недели три, и уже не думали, что в нашу школу будут записывать еще учеников, как вдруг в классе появился Котька Григоренко.

Я даже вздрогнул, когда увидел его в дверях нашего класса. У нас начался урок. Природовед Половьян прикалывал к доске рисунки скелета мамонта. Котька осторожно, на цыпочках, чтобы не заметил Половьян, пробрался в конец класса. Он бесшумно уселся там на заднюю парту. Весь урок меня подмывало обернуться, посмотреть хоть искоса, что делает Котька, но я сдерживал себя: ведь мы же — враги!

На большой перемене Котька уже освоился и чувствовал себя так, будто и не уходил отсюда на каникулы. Он вымазал мелом всю доску, рисуя на ней хату под соломенной крышей, он прыгнул несколько раз через парту, он выменял у Володьки Марценюка за два карандаша австрийский патрон. Со мной и Маремухой Котька не разговаривал и заметно сторонился Оськи. А на другой день, только кончился третий урок, к нам на парту подсел конопатый Сашка Бобырь.

— Хлопцы, допомогите! — прошептал он, оглядываясь на соседей.

— А что? — спросил Оська.

— Хлопцы, слушайте, хлопцы, — торопливо заговорил Бобырь, — у Котьки мой бульдог. Он принес его в класс. Я подсмотрел, он показывал Марценюку.

Хлопцы, я вам за то дам дробь, у меня есть целый фунт дробь. Только доломить, хлопцы!

— А где же Котья?—спросил, вставая, Оська. Его глаза загорелись. Он вышел из-за парты.

— Наверх побежал, наверх!—с волнением ответил Бобыр.

Он так волновался, что даже его веснушки побегрели, а сам он дрожал от нетерпения и угодливо заглядывал Оське в глаза.

— Зови еще Петьку!—сразу приказал мой брат и направился к выходу.

Мы нашли Котью в конце пустого коридора третьего этажа. Он шел из уборной к нам навстречу, заложив руки в карманы.

— Котья, послушай!—дрожащим голосом остановил его Сашка Бобыр.

Мы с Оськой стали позади Сашки. Петька Маремуха на всякий случай отошел к печке.

— Ну?—насторожился Котья и вынул руки из карманов.

Он стоял перед нами в серой гимназической курточке, чуть нагнув вперед голову; в его недобрых блестящих глазах было опасение, тревога.

— Котья, отдай бульдог!—решительно сказал Бобыр.

— Бульдог?—встрепенулся Котья. — У меня нет бульдога!

— Брешешь, есть!—прохрипел Бобыр. — Он у тебя в кармане.

И в ту же минуту Котья прыгнул назад, к окну. Наперерез ему бросился Оська и закричал:

— Хватай его за ноги!

Хорошее дело — хватай за ноги! Но ведь это не так просто, как думает Оська. Котья размахивает ногами так быстро и сильно, что подойти к нему невозможно. Спинай он отталкивает Оську, но тот крепко сжал Котьины руки и не отпускает. Григоренко кричит от злости, мотает головой, но сделать ничего не может. Оська куда сильнее его, хоть никогда на турнике не вертелся.

— Да ну, хватай! Дай ему леща! Что вы боитесь!—подбодрил нас Оська.

В эту минуту мне удалось поймать Григоренко за ногу. Я крепко ухватил его за ботинок с крепким каблуком и потянул изо всей силы к себе. Оська понатужился и швырнул Котьку на пол, под самую печку, к ногам Маремухи.

Теперь Григоренко нам не страшен. Сейчас мы его обыщем!

— Пустите, сам отдам,— сквозь зубы проскрипел Котька.

— Отдашь?—сидя верхом на Котькиных плечах, недоверчиво переспросил Оська.

— Отдам... Ей-богу, отдам,— пообещал Григоренко.

— А ну, пустите его, хлопцы!—приказал Оська и вскочил на ноги.

Не очень охотно мы выполнили его приказание. Помятый, взъерошенный Котька, не глядя на нас, медленно поднялся и отряхнул со штанов пыль. Потом он полез в карман и неторопливо вытащил никелированный бульдог. Это был очень хороший бульдог, новенький, блестящий,—видно, из него стреляли совсем мало.

Бобырь так и поддался вперед.

— Ну, дай сюда,—сказал он нетерпеливо, протягивая свою длинную худую руку.

— Дать? Что дать? Что ты хочешь?..—крепко сжимая рукоятку бульдога, удивленно спросил Котька.

— Да револьвер!—крикнул Бобырь и протянул навстречу другую руку.

— Револьвер? А дудки!—и с этими словами Котька, размахнувшись, вышвырнул бульдог в открытое окно.

— Берите!—злобно прошептал он, и в эту минуту внизу, на площади, хлопнул револьверный выстрел.

Вот так шутка! Это, видно, выстрелил, ударившись о камни, Сашкин бульдог. Мы присели. А вдруг пулей убило когонибудь на площади? Маремуха попятился к лестнице. А Котька одернул рубашку, злобно улыбнулся и спросил:

— Получили?

Только сейчас мы пришли в себя, поняли, как ловко обманул нас Григоренко.

— Ты... ты... что... к папе захотел? — выкрикнул заикаясь побледневший Сашка Бобырь.

— Подожди! — остановил Бобыря Оська, — побежали на балкон, посмотрим!

Мы помчались по коридору.

— Он что у тебя — самовзвод? — догоняя Бобыря, с сочувствием спросил я.

— Ну да, самовзвод. .. — жалобно ответил Сашка.

Мы осторожно выглянули с балкона на улицу. На площади пусто.

Желтые листья валяются на камнях. Но на углу, под тем окном, из которого только что выбросил револьвер Григоренко, стоит какой-то красноармеец и смотрит вверх, на третий этаж, где ветер качает обе половинки открытого окна.

Постояв немного красноармеец сунул револьвер в карман и медленно, то и дело оглядываясь, пошел прочь.

Сашка с тоской следил за каждым его шагом. Никогда уж не видать ему своего бульдога! Да и мы все с сожалением смотрели вслед красноармейцу, а я подумал даже: „Не побежать ли за ним вдогонку?“ Мне казалось, что если бы как следует попросить красноармейца, он бы отдал нам бульдог. Зачем ему он, этот маленький, пуляковый револьвер с мягкими свинцовыми пулями? Ведь, наверное, у красноармейца есть наган. Но пока я думал так, красноармеец скрылся за кафедральным собором. Бежать было поздно.

Уже в классе Котька Григоренко, отойдя к учительской кафедре, погрозил:

— Мы еще с вами поживаемся! Погодите...

— Ладно, ладно. Еще захотел? Гадюка петлюровская! — со злостью ответил Оська и расстегнул пояс, готовясь к новой драке. Но в класс вошел с нотами подмышкой Чибисов, и Котька, погрозив Оське кулаком, сел за свою парту.

Вскоре после этого случая от Володьки Марценюка мы узнали, что в первой трудшколе на Тарнопольском спуске в старших классах изучают какой-то

новый, незнакомый нам предмет с мудреным названием „социология“.

— Это про политику, наверное, — важно объяснил Бобырь.

— Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Оська.

— Вот и знаю... Я все знаю... — отвечал Сашка. — Мой старший брат ходит в комсомольскую ячейку у печатников, он мне говорил такое самое слово.

— А почему у нас нет этой... как, Володька? — ввязался в разговор Маремуха.

— Со-ци-о-ло-ги-я, — подсказал Марценюк.

— Почему нет? А разве ты не знаешь, почему? — отвечает Бобырь. — Учителя не хотят, вот почему! Разве им политика на уме? Вот пойдемте, пожалуемся...

— Куда ты пойдешь, куда? — засуетился толстенький Маремуха. За это лето он почернел и даже немного подрос.

— А в тот красный дом, что за новым бульваром! — смело предложил Бобырь. — Мой брат говорил, что в том доме всё начальники сидят и жалобы от людей принимают.

— Ну, в красный дом... — испугался Маремуха. — Зачем туда? Надо у Лазарева просить.

— Чудак, — сказал я, — Лазарев ничего сам не сделает. Он один, а таких, как Родлевская, много. Они его и так заедают.

На следующий день после уроков мы вчетвером возвращались к себе домой, на Заречье. Бобырь и Оська шли впереди. Мы с Маремухой поотстаи. У меня на душе было легко и радостно, — уроки нам задали пустяковые, на дворе стояла хорошая погода. Здорово светило солнце, — оно заливало весь наш гористый, обрывистый город своими ясными лучами, освещая сухие, чуть синеватые плиты тротуаров, отражаясь в лужицах воды, не просохших еще после ночного случайного дождя.

Я шурился, глядя на солнце, и думал: как бы хорошо, если б круглый год стояло лето! А ведь скоро наступит зима; начнется она с легких заморозков, будут седые крыши по утрам, завянет зеленая

трава на огороде, упадет, мертвая, на землю, а потом пойдут морозы, — с каждым днем все сильнее, — и река вдруг остановится под Старой крепостью. Бросишь бабку — она запрыгает по льду, заскользит и даже следа не оставит: таким гладким, скользким, прозрачным будет первый, еще очень тонкий лед. Но тут же я представил себе, как хорошо будет бегать утром, на первой перемене, по школьному двору, да проламывать затянутые с ночи тонкой коркой льда лужицы.

Это очень приятно, когда в ясное, морозное утро ноги прямо сами несут тебя по мерзлым кочкам! Попадешь с разгону носком в такую лужицу, — лед с хрустом проломится, зазвенит, а ты уж помчался дальше, и подошвы сухие. А потом, как хорошо после перемены с холода вбежать в светлый класс, да пока не вошел учитель, прижаться животом к теплой, чуть-чуть пахнувшей краской, натопленной печке. И мне стало совсем не жалко, что уходит осень и скоро наступит зима. Это даже лучше. Наточу свои нурмисы...

Но в это время впереди раздался сиплый и дрожащий голос Сашки Бобыря.

Сашка вдруг запел:

Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады...

Пел Сашка плохо, по-козлиному, совсем не так, как пели эту песню красноармейцы, которые стояли в епархиальном училище. Я хотел было крикнуть Сашке, чтобы он замолчал, как вдруг с ним вместе запел и Оська.

Наш паровоз, вперед лети!
В коммуне остановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка, —

пели они уже вдвоем, маршируя по круглым булыжникам.

Теперь было трудно удержаться и нам с Маремухой. Мы догнали хлопцев, выстроились им в затылок,

и так все вчетвером пошли прямо посередине мостовой, как настоящие военные. Мы шли и пели:

И много есть у нас ребят,
Что шли с отцами вместе,
Кто подавал патрон, снаряд,
Горя единой мезтью...

Прохожие останавливались и глядели нам вслед. А мы не обращали на них никакого внимания. Кто нам мог что-нибудь сказать? Кто мог нам запретить петь? Так, с веселой песней, мы вышли на Новый бульвар. Строем, по-двое, по узенькой тропинке, ведущей в глубь бульвара, было идти трудно. Мы пошли гуськом, и песня сразу оборвалась. На бульваре было совсем как в лесу: просторно, много голых, облетевших деревьев, а вокруг ни одного камешка, только холмы да канавы.

Ветер гнал по бульвару желтые, сухие листья. Ноги вязли в них, даже когда мы шли по тропинке. Оська с разбегу прыгнул в усыпанную листьями канаву. Он растянулся там, как жаба.

— Вот мягко, хлопцы, поглядите! — позвал он нас, барахтаясь в листьях.

Мы, точно в воду, бросаемся за ним в канаву, разрываем листья, подбрасываем их горстями кверху, осыпаем золотым дождем друг друга. Листья летают над нами, как огромные красноватые бабочки, и, покачивая в воздухе кривыми хвостиками, устало падают на пожелтевшую землю.

Наконец мы покидаем Старый бульвар и выходим на улицу.

— Ты про этот дом говорил, Сашка? — спросил Маремуха, показывая пальцем на красный двухэтажный дом, который стоял рядом с почтой.

— Про этот, про этот, — заволновался Бобырь. — Вот сюда и надо бы пойти.

— А у меня в этом доме знакомый служит, — похвастался Петька.

— Ну, не брешь... знакомый, — ответил я Маремухе.

— Что не брешь? — огрызнулся Петька. — А Лейзевич разве не тут работает? Ты что, забыл?

А ведь Петька прав! Лейзерович действительно тут работает. Мне и отец говорил об этом. Сейчас Лейзерович живет где-то в городе, в общежитии горсовета, и мы встречаем его очень редко.

— Тогда давай пойдем к Давиду, — сразу решил Оська. — Вот сейчас. Пошли.

— Нет, зачем сейчас, — замялся Маремуха. — Потом пойдем... после.

— Ага, ага! — обрадовался Бобырь. — Никого у тебя в этом доме, наверное, нет. И ты наврал нам про знакомого.

— Я наврал, я? Тогда пойдем... Вот увидишь! — закипятился Петька и шагнул в сторону кирпичного дома.

На коричневых дубовых дверях этого дома был прикреплен белый кусок картона с надписью:

ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ (БІЛЬШОВИКІВ) УКРАЇНИ
ПОВІТОВИЙ КОМІТЕТ

КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

— Ну, как, зайдём? — прочитав эту надпись, нерешительно спросил у всех Маремуха.

Сашка Бобырь молча толкнул Маремуху первого в широкую дубовую дверь. Но Маремуха уперся руками в косяки.

— Ну иди, иди, чего же ты? — приказал Оська. — Назад только раки лезут.

Гулко хлопнула за нами тяжелая дверь.

Вверх подымается узкая мраморная лестница, а направо, в глубь первого этажа, уходит полутемный коридор. Куда идти?

Подумав немного мы идем по коридору.

В его далеком углу стучит пишущая машинка. Мы делаем несколько шагов в полутьме коридора и останавливаемся у какой-то двери. За ней слышен чей-то громкий голос. Неожиданно дверь открывается, и из нее в коридор выходит курчавый Давид Лейзерович. Он в высоких брезентовых сапогах, в вышитой косоворотке, в синих брюках галифе.

— Вы чего здесь, мальчики? — удивленно оглядывая нашу компанию, спрашивает Давид.

— А это мы, дядя Давид. Здравствуй! — И, отстраняя хлопцев, я первый подхожу к Лейзеровичу.

— Васька? А я тебя не узнал. Ну, заходите, раз в гости пришли, — приглашает Лейзерович. И мы входим следом за Давидом в большую комнату с изразцовым камином.

В комнате, сидя на столах, беседуют какие-то люди. Увидев нас, они замолкают. В комнате здорово накурено. Голубые облачка дыма плывут к потолку. У камина, прижавшись друг к дружке, стоят три виштовки.

— Вот делегация ко мне пришла, — смеется Давид, показывая на нас рукой.

— А чем угощать будешь? — отзывается на его слова лысый коренастый старик в зеленой гимнастерке. — Ты бы хоть бубликов для них принес.

— А где я их достану? — разводя руками, говорит Лейзерович: — Садись, ребята, на подоконник. Стульев у нас два, а людей — видишь сколько.

Я первый рассказываю Давиду о нашей школе, об учкоме. Он внимательно слушает меня и только изредка почесывает подбородок.

— Директор-то у нас хороший, но вот новый учитель пения Чибисов в церкви поет, в бога верит! — вмешался в разговор Петька Маремуха.

— Да погоди ты, — огрызнулся я. — Вот Родлевская совсем не признает учком. Она говорит, что в учкоме только одни нахалы и дерзкие.

— Мы хотим социологию... В первой школе есть, почему у нас нету? — вдруг храбро выпалил Сашка.

Давид Лейзерович улыбнулся. Засмеялись и его товарищи, сидящие на письменных столах, а один из них, вынув из кармана тетрадочку, записал в нее что-то.

— Ладно, хлопчики, всё будет: и социология, и учителя хорошие, и завтраки, и грифельные доски. Погодите только немного, — обещает Давид, потирая лоб.

Когда мы собрались уходить, я отозвал Давида в сторону и тихо сказал ему:

— Дядя Давид, а нас вызывали в Чека. Вы Кудревич знаете?

— Знаю, Васька, знаю, — подмигнул мне Давид и посоветовал: — Не болтай только много!

Ровно через неделю, после второй перемены, в нашем классе появляется низенький паренек в простой коричневой рубашке, в грубых зеленых брюках, в тяжелых военных ботинках на лосиной подошве. Мы бегали по классу и, увидев вошедшего, остановились: кто у доски, кто у печки, а Маремуха застыл на кафедре.

— Садитесь, — неожиданно предлагает нам этот молодой паренек. — Садитесь, — повторяет он и откашливается.

Мы, недоумевая, как попало усаживаемся на парты.

— Ребята, — хрипло говорит молодой паренек и опять кашляет. — Товарищи... Давайте познакомимся. Моя фамилия — Панченко, меня прислал к вам уком комсомола. А заниматься я буду с вами политграмотой. Вы знаете, что такое политграмота?

В классе тихо.

Что ответить? Мы молча и с удивлением разглядываем нашего нового, непохожего на остальных и какого-то особенного преподавателя.

1935—1939 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Учитель истории	3
Ночной гость	11
Прощай, училище!	22
Пустой урок	33
Башня Конецпольского	41
Драка	46
У директора	54
Когда наступает вечер	63
В Старой крепости	71
Маремуху высекли	84
Клятва	96
Поджигатели	108
Надо удирать!	122
В Нагорянах	127
Лисьи пещеры	137
Рассказ о ночном госте	143
Неожиданная встреча	152
Бой у сломанного дуба	160
Мы покидаем село	174
Бегство	180
Новые знакомые	194
Меня вызывают в Чека	208
Одиннадцатая верста	226
Радостная осень	236

Для среднего и старшего возраста

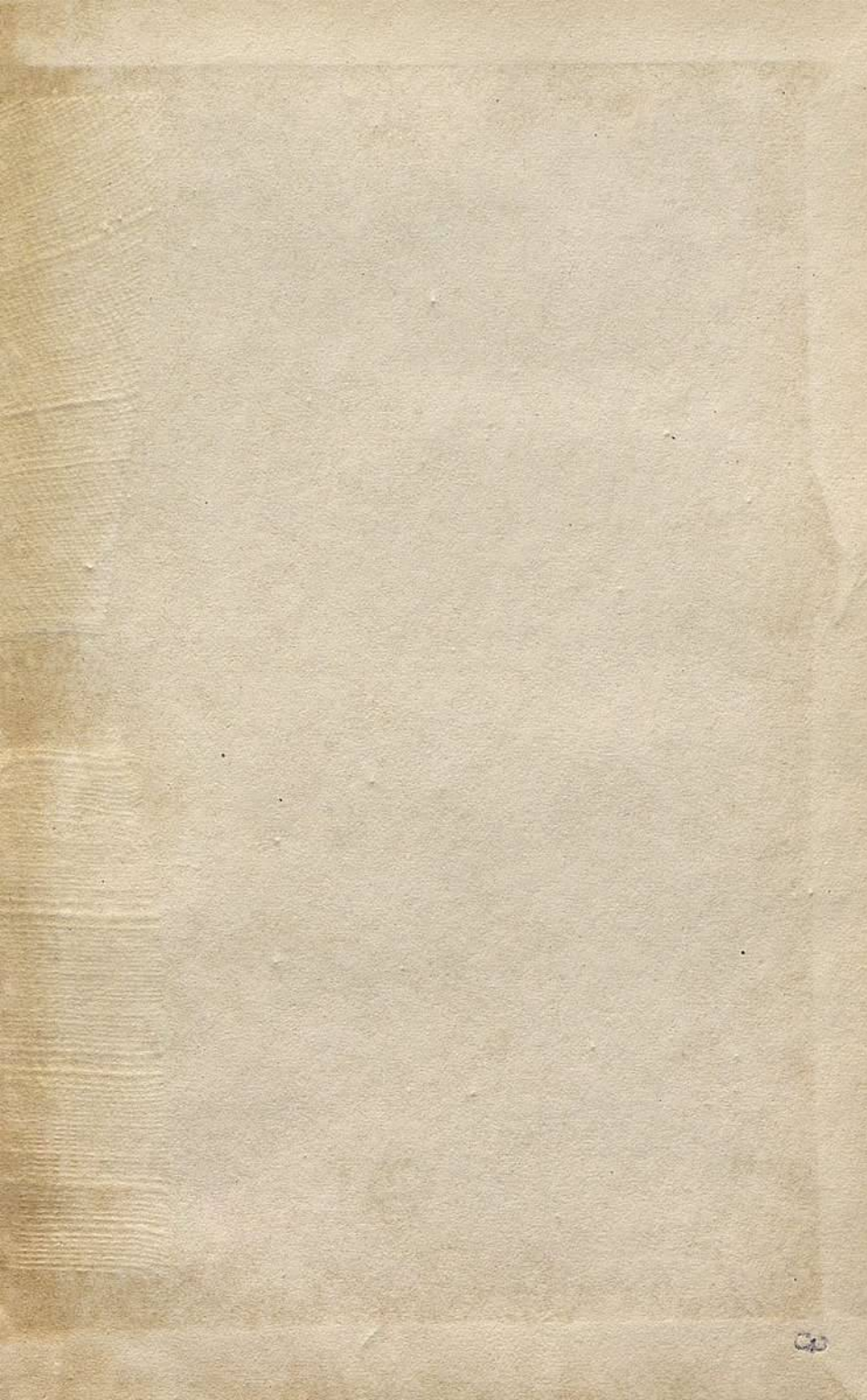
Редактор Б. Летов.

Художник-редактор Н. Полозов. Технический редактор В. Макрушин.
 Корректор М. Бекитрем. Подписано к печати 17/IX 1946 г. М-05764. 374.
 Тираж 30 000. Заказ 1381. Печ. л. 16^{1/4}. Уч.-авт. л. 13,75 2-я фабрика
 детской книги Детиза Министерства Просвещения РСФСР.
 Ленинград, 2-я Советская, 7.



~~11669~~





200 =
~~10~~ руб.

